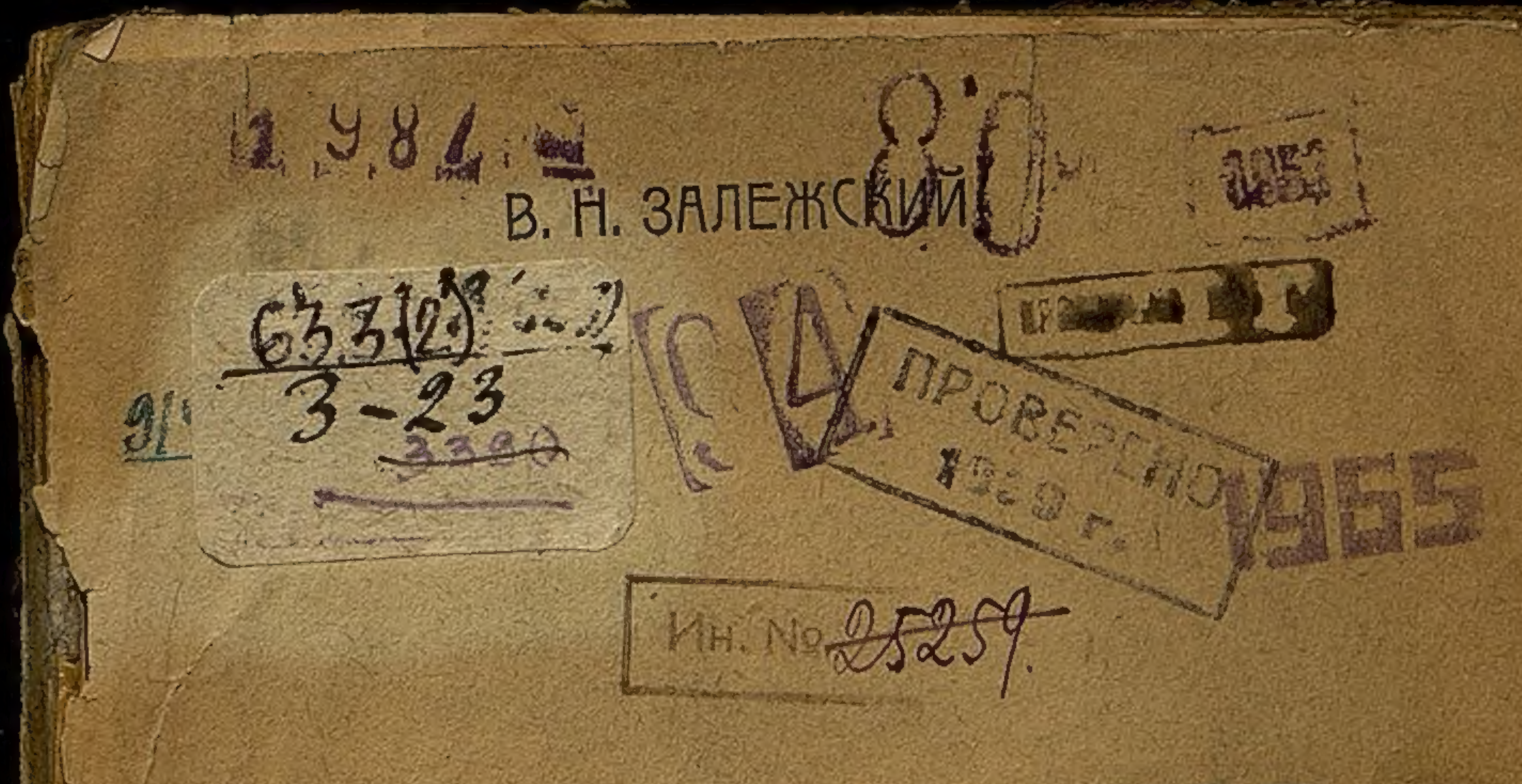


В. Н. ЗАЛЕЖСКИЙ

ВОСЕМЬ ПОБЕГОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
МОСКВА — ПЕТРОГРАД
1923

Копия бланка-заказа высылается вместе с книгой или служит ответом на запрос

№№ абонента

дата

№ заказа

Название библиотеки-заказчика

Адрес

Особые отметки

Автор

Название

Петрооблит № 9077. Тираж 10.000.



В. Н. Залежский (+) в Архангельской ссылке.

Первая практика

Московская губернская тюрьма была центральным пунктом, куда стекались чуть ли не со всей России политические, направляемые царским правительством, говоря высоким стилем, „в места столь и не столь отдаленные“ или попросту,—в ссылку.

Когда я, в конце 1903 года, прибыл с очередным этапом из Казанской тюрьмы в Бутырки, направляясь еще „до приговора“ в Архангельскую губернию, то здесь застал уже довольно много политических, идущих также, как я, „на Архангельск“. Архангельская губерния в то время только что была открыта для массовой политической ссылки, здесь ее не было с конца 80 и начала 90 г. г., за исключением отдельных одиночек. Поэтому никто из нас не представлял себе ясно условия жизни в ней. Мы любили распевать известную тогда студенческую песенку, соответствующие куплеты которой гласили:

В дальний путь благополучно
Прокурор нас снарядит...
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит...
Вот Архангельск,
Вот Пинега—
Лишь болота да леса...
Пропадай моя телега,
Все четыре колеса!...

Но, как видно из текста, мы склонны были оценивать ссылку не трагически, а юмористически...

После месячного сидения в Бутырках наша „партия“, наконец, направляется „на Архангельск“, куда и прибывает дней через десять. Здесь нас уже дожидались назначения. Я, Вороницын (из Харькова) и еще один из товарищей назначаемся отбывать „гласный надзор полиции“ в г. Холмогоры, верстах в 70-ти выше Архангельска, по Северной Двине. Я был очень доволен: во-первых, недалеко от Архангельска, а во-вторых — место то уж больно историческое, шутка ли—родина Ломоносова!

Дня через три мне было разрешено, так как со мной следовала жена с ребенком, отправиться в Холмогоры не по этапу, а „на свой счет“. Этот „свой счет“ значил, что я должен нанимать лошадей, вести с собой на свои средства стражника, который меня сопровождает до места ссылки, и платить ему суточные—кормовые туда и обратно. Это были минусы, но они, конечно, далеко уступали „плюсам“, ибо это давало мне возможность сразу же быть с семьей, чувствовать себя уже полусвободным человеком и быстрее достигнуть места назначенья. И действительно, на другой день я был уже на месте.

После ряда формальностей в местном полицейском управлении, где меня заставили прочитать или, вернее, расписаться, что читал, устав о поднадзорных, из которого я узнал, что мне запрещено заниматься педагогической деятельностью, служить в типографии и проч. и проч. и проч., что я обязан ежедневно являться в полицию для регистрации, что мне запрещено выходить из города дальше, чем на полверсты,—я, наконец, услышал из уст полицейского чиновника весьма приятную для меня фразу:

— Вы свободны. Когда найдете квартиру—собщите нам, где будете жить.

Меня уже давно дожидались два—три человека из „ста-

рых" ссыльных, с которыми я и вышел на крыльцо полицейского дома.

Не веселая картина открылась передо мной. Городишко имел всего 800 жителей, т.-е. меньше средней деревни центральных губерний, расположен он на невысоком берегу Северной Двины, на „гряде", вокруг которой тянется тундра, теперь скованная морозом. В самом центре города, где стоит полицейское правление, расстилается обширная площадь, совершенно пустая, а летом представляющая из себя самое обыкновенное болото. Сейчас все это было бело и покрыто глубоким снегом.

Тоскливое чувство охватило меня, несмотря на радость освобождения. „И здесь, в этом болоте мне придется жить неизвестно сколько времени „до приговора" и неизвестно сколько после такового. Нет, бежать отсюда, бежать!"

Но бежать пока мне было нельзя. Архангельская губерния „до приговора" досталась мне очень не легко. Ее я добился в результате массовой голодовки политических в Казанской тюрьме, протестовавших этим против чрезмерного затягивания нашего дела жандармами. Мы твердо решили или умереть, или добиться освобождения. Голодовка была об'явлена самая серьезная, „без воды". Это значило, что в конце лета (дело было в августе), когда стоят еще довольно жаркие дни, мы отказались не только есть, но и пить. Голодали мы впервые, чем только и можно было об'яснить, что мы решились голодать без воды (если позабыть еще одну причину—мы были очень молоды и революционеры по нутру). В результате наш организм, после первых же трех дней голодовки, был сильно надорван; внешние симптомы действия „безводной голодовки" были ужасные: губы потрескались и при малейшем движении из них шла кровь, язык сделался шершавым и скрипел по небу, когда я шевелил воспаленным ртом, моча почти совершенно прекратилась, и была серьезная опасность заражения всего организма мочевиной и другими продуктами распада, которые не могли

в должной мере удаляться из организма по недостатку жидкости. На наше счастье, прокуратура и жандармерия быстро пошли на уступки и обещали освободить немедленно товарищей, сидевших без достаточных улик, а нас, севших „с делами“, выслать до приговора. Мы победили, но ценой совершенно расшатанного здоровья: у многих из нас, в частности у меня, на почве крайнего истощения организма, углубленного голодовкой, начал быстро развиваться туберкулез.

Таким образом, мне было необходимо некоторое время остаться в ссылке, отдохнуть, поправить свое здоровье, после чего только и можно было думать о побеге. Местная врачебная комиссия выдала мне соответствующее свидетельство, которое я направил в департамент полиции (там говорилось, что мне вреден север и необходим перевод на юг), а в ожидании ответа начал устраиваться в Холмогорах на жительство.

В мое время Холмогорская ссылка была невелика—нас всего было человек 12—15 самого разнокалиберного состава. Здесь были и эс-дэки, и эс-эры, и пе-пе-эс, и просто люди неопределенного толка. Естественно, что свой тяготел к своим, и скоро мы, эс-дэки, зажили тесной группой в 6—7 человек. Это были: Вороницын, Дубровинский (брат известного Иннокентия), я, две сестры Никитиных и Львова. Около нас также держался рабочий из Таганрога, Солдатов, но так как он был хотя и славный парень, но горький пьяница, то особенно мы с ним не дружили. Вторая группа—эс-эры во главе с супругами Толмачевыми, кажется, из Тамбова. Мы, эс-дэки, каждый жили в разбивку. Только у меня была отдельная от хозяев квартира, остальные же снимали „от хозяев“ комнаты. Прибывшим же раньше нас эс-эрам удалось снять совершенно изолированный большой дом и они жили все вместе „коммуной“. Хотя особенно дружеских отношений у нас с ними не было, но, тем не менее, мы жили по-товарищески.

В 1904 г., с началом японской войны, сибирская желез-

нодорожная магистраль была занята всецело работой по перевозке войск и, уже не знаю, по этим ли соображениям или из боязни дурного влияния политических ссыльных на проходящие через Сибирь эшелоны войск,—правительство отменило политическую ссылку в Сибирь, а когда в тюрьмах скопилась большая масса политиков, долженствовавших быть направленными туда, было отдано распоряжение направить их в Архангельскую губернию. И вот, каждую неделю мимо Холмогор потянулись большие этапы политических, шедших в такие отдаленные места Архангельской губернии, как Мезень, Карпова гора, Усть-Цыльма, Ижма и др.

Хотя ссылка в Архангельскую губернию и приобрела массовый характер, но шел в те времена далеко не массовик: шли, главным образом, профессиональные революционеры, как из интеллигентов, так и из рабочих. Естественно, что вопрос о побегах из ссылки имел для них первенствующее значение. Многие из них уже шли в ссылку, имея при себе зашитыми в платье деньги, заделанные в подошвы паспорта и т. п., с тем, чтобы немедленно же по освобождении бежать. Однако, условия передвижения в этих отдаленных углах Архангельской губернии были весьма неудобны, благодаря чему целый ряд побегов кончался неудачей, не говоря уже о том, что стоил колоссальных денег. Поэтому страстное желание каждого революционера, желавшего бежать, было остаться где-либо по близости, а в частности у нас, в Холмогорах.

Приход этапа, по четвергам, был для нас праздником. Несмотря на запрещение удаляться далеко за околицу города, мы все, обычно с раннего утра, отправлялись по направлению к Архангельскому навстречу этапу и часто встречали его за несколько верст от города. Здесь нам было привольно: конвойные, строгие к политикам в черте города на глазах у начальства, здесь относились к нам удивительно хорошо, по-товарищески. Мы свободно подходили к арестованным, беседовали с ними, сообщали условия и

правила ссылки, а от них получали информацию о том, что делается в России. Очень часто тот или другой из шедших в этапе товарищей, справившись предварительно, кто из нас какой политической партии, заводил разговор об условиях и возможностях побега. Обычно мы таким советовали „заболеть“ по прибытии в Холмогоры,—тем более, что врач холмогорский либеральничал, относился к нам сочувственно и легко клал „заболевшего“ политика в больницу, отставляя его тем самым от этапа,—и отсюда хлопотать об оставлении больного в Холмогорах, откуда уже нетрудно было бежать. Таким путем из Холмогор бежало несколько товарищей. Но чем дальше, тем труднее и труднее удавалось „больному“ получить разрешение остаться в Холмогорах, ибо администрация уже знала, чем это пахнет. Обычно „больной“ полежит, полежит в больнице (в больнице была особая тюремная камера) да, наконец, бывает принужден „выздороветь“ и поехать дальше.

Как ни поздно начинается весна в Архангельской губернии, но все-таки и туда она приходит... Для политиков, как идущих в места надзора, так и собирающихся немедленно бежать, весна—самое скверное время года. Начинается распутица, дорога портится, реки разливаются, этапы прекращаются, и товарищам приходится ждать в тюрьме. Прекращается всякое сообщение. И это длится многие недели.

В один из последних весенних этапов мы встретили т. Редкозубова, видного тогда партийного работника — эсдэка, который нашей группе заявил, что ему необходимо немедленно же бежать, что он не может заходить вглубь губернии и наша партийная обязанность—помочь ему.

Мы прибегли к обычному методу: нажали на доктора и заставили его положить „заболевшего“ Редкозубова в больницу, тем самым отставив его от этапа; губернатору была послана телеграмма с просьбой оставить Редкозубова ввиду болезни в Холмогорах до открытия навигации, тем более, что уже этапы больше не шли, ввиду наступающей распутицы.

Ответ губернатора не замедлил: телеграмма гласила, что Редкозубов не может быть оставлен в Холмогорах, а так как сейчас по этапу идти не может, то должен быть заключен в тюрьму до открытия навигации, когда он будет направлен на место своего назначения. Это нас всех страшно возмутило, и мы уже считали делом своей революционной чести устроить Редкозубову побег. Мало того, у нас созрел план демонстративного побега группой вместе с Редкозубовым.

Между тем, время шло, распутица быстро приближалась, на Двине выступила вода, она почернела — вот-вот надо было ожидать ледохода. Это заставило нас особенно торопиться с подготовкой побега. Редкозубов помещался в больнице в камере для арестованных, у дверей которой стоял караул из местной команды. За побег должен был ответить прежде всего караульный солдат. Значит, надо было прежде всего так обставить дело, чтобы снять с солдата законную ответственность, ибо мы, политические ссыльные принципиально избегали нашими побегами подводить под репрессии конвой, дабы не озлобить его против нас. С этой стороны обстоятельства нам как-будто благоприятствовали. В Холмогорах была небольшая караульная команда человек в 100—120. Начальник команды — весьма гаденький суб'ект — старался набрать свою команду из местных призывников, оставляя во время призыва у себя, главным образом, тех из новобранцев, которые были побогаче. И вот за соответствующую мзду он широко практиковал дачу отпусков богатеньким сынкам кулаков, служившим в его команде, так что наличный состав команды обычно был настолько невелик, что их совершенно замучивали несением всякого рода караульных обязанностей: как общее правило, вместо положенного по уставу двухчасового дежурства на посту, солдат обычно дежурил четыре, а если стоял в закрытом помещении, то часто и по шести часов. Когда мы узнали, что часовые у камеры Редкозубова стоят обычно по шесть часов, мы увидели весьма законное обстоя-

тельство в том, что солдат на посту заснет, а в это время Редкозубов удерет, тем более, что камера обычно не запиралась.

План побега нам рисовался в таком виде: утомленный многочасовым дежурством солдат „законно“ засыпает. Редкозубов выходит из камеры в уборную, где окно без решетки, выдавливает стекло, выходит на задний дворик, перелезает забор, за которым в условленном месте его ждет один из нас, с ним идет в заранее приготовленное помещение, здесь Редкозубов прячется, пережидает два-три дня, пока пройдет первый переполох поисков, а затем мы, группой человека в четыре, удираем. В этом плане наиболее серьезными моментами мы считали первый—солдат должен заснуть, не заперев камеры, и предпоследний—приготовить хорошее помещение, где бы Редкозубов был в безопасности. На эти два момента и было обращено главное наше внимание.

У нас явилась мысль „ускорить“ утомление солдата от незаконно-продолжительного дежурства путем дачи ему наркотина. Из местной больницы мы достали хлорал-гидрату, который и должны были подсыпать в водку. Этой водкой в нужное время Редкозубов угощает солдата. Но вот вопрос, сколько надо положить в полбутылку водки хлорал-гидрату, чтобы, во-первых, не было мало, а, во-вторых, чтобы не переборщить и не отравить солдата. Никто из нас никакого понятия в медицине не имел. Справились в энциклопедическом словаре о хлорале и о сонной дозе. Там вычитали, что требуется, смотря по организму, от одного до трех грамм. Но, кто его знает, какой организм у нашей будущей жертвы—дашь минимальную дозу, может не заснуть, дашь максимальную, еще неровен грех, помрет.

— Хорошо было бы произвести опыт на своих организмах—бросил мысль Вороницын.

— Верно,—подхватили мы,—надо предварительно попробовать на себе.

Особенно эта мысль понравилась младшей Никитиной. Она ни за что не хотела уступить первый опыт кому-либо из нас. На том и порешили, что начнет „пробовать“ хлорал она, а в дальнейшем и мы. Но между собой мы, мужчины, сговорились „обдуть“ Никитину и дать ей половину минимальной дозы. Должен сказать, что аптекарских весов у нас не было, а хлорал ведь штука „деликатная“,—с ним нужна точность аптекарская, а не на глаз... Как бы то ни было, но в назначенный день покупаем водки и пива, сообщаем хозяевам квартиры Никитиных, что у нас будет пирушка, собираемся.

Настроение, помню, было приподнятое и нервно торжественное. На столе рядом с парой бутылок пива и полбутылкой водки стоит склянка с разведенным в спирту хлоралом. То один из нас, то другой пробует эту настойку на язык. Бр-р! горько, противно.

— Как же быть?—думаем,—ведь если эту штуку влить в водку, то она станет горькой и солдат непременно заметит, что к водке что-то подмешано, а тогда скандал будет весьма серьезный.

Я вспоминаю свои разговоры на этапах с уголовными, „работавшими на малинку“. „Малинники“ — это уголовные, которые обирают свои жертвы путем подсыпания в питье того или другого наркотика и, главным образом, именно хлорал-гидрата. Обычно дело происходит так: „малинник“, более или менее прилично одетый, выдает себя или за купца, или за коми-вояжера, или просто за милого кутящего парнягу. В качестве такового, он подсаживается к кутящей компании „икряных фраеров“ (воровское обозначение богатых обывателей) и где-нибудь в отдельном кабинете или в соответствующем злачном месте подсыпает свой наркотик и, когда собеседники засыпают, обирает всех и скрывается. Они мне говорили, что хлорал надо подме-

шивать в пиво и что хотя оно действительно делается горче обычного, но все же это менее заметно, чем в водке. Да, кроме того, обычно дело удается потому, что публика пьет отравленное пиво уже будучи сильно пьяна, когда вкус притупляется.

Моя „информация“, нельзя сказать, чтобы способствовала хорошему настроению. Однако, другого выхода не было. Надо было орудовать именно с хлорал-гидратом, со всей его горечью. Подлили немного в водку—горчит на вкус. Подлили в пиво, тоже, но значительно меньше.

— Это пиво может сойти пожалуй за не совсем свежее, начавшее уже горчить,—говорит Дубровинский, потягивая из стакана,—против же водки я решительно протестую—провалимся.

— Но что же можно сделать иначе? Ведь пиво уже „прогоркло“ даже тогда, когда мы пустили в стакан т. Дубровинского несколько капель, а попробуйте-ка в одну бутылку пива влить всю дозу, что тогда получится? Тут уж будет не прогорклость, а черт знает что.

Все-таки пробуем. Наливаем порцию в водку, а другую в бутылку пива. Ни то, ни другое пить невозможно. Однако, Никитина храбро наливает себе целый стакан хлорал-гидратистого пива и выпивает. Несмотря на сильную горечь она хочет пить второй стакан, но мы решительно протестуем.

— Довольно т. Никитина, ваш организм ведь не солдатский и то, что вы выпили, должно оказать на вас действие. Скоро мы отправим вас на постель.

Воцарилось молчание. Все мы сидим и ждем. Никитина через несколько минут нам кажется начинает бледнеть. Мы настораживаем тревожное внимание. Вдруг она поднимает полузакрытое до того момента рукой лицо, в глазах блестит какой-то задорный огонек и неожиданно для нас она заявляет:

— А мне сейчас хочется сбросить со стола скатерть.

Мы все в полном недоумении.

— Как они все смотрят! Какие вы все глупые!—неожиданно произносит она.—Ха-ха-ха.

Мы все растерялись. Уж чего-чего, а такого финала мы не ждали. А Никитина сидит и заливается самым веселым, самым беззаботным смехом. Сестра бросается к ней, начинает уговаривать, предлагает воды, а мы, сконфуженные и растерянные, малодушно удираем из квартиры, шепнув сестре, что, если окажется что-либо серьезное, пусть немедленно известит, а мы раздобудем врача.

На другой день мы узнали, что такой период веселости у Никитиной продолжался с полчаса, после чего нервы спали, она начала плакать и, наконец, заснула. Оказалось, что хлорал-гидрат, как мы узнали потом, имеет и другую сторону—не только „сонную“, но и „веселую“. Дело в том, что, как и всякий наркотик, в малой дозе он вызывает под‘ем деятельности нервной системы, возбуждение, веселость; в большой же дозе, но еще не смертельной, он действует на нервную систему угнетающе и человек засыпает. Никитина, оказывается, выпила только „веселую“ дозу. Отсюда и все дальнейшее...

— Вот так штука,—разводим мы руками.—Ведь если хлорал-гидрат способен не только усыплять, но и веселить, при чем доза достаточная для того или другого действия зависит от индивидуальности данного организма, то где у нас гарантия, что солдат, выпив нашу настойку, приготовленную с соблюдением гарантии возможного отравления, не придет вместо сонного настроения в веселое и не превратит тем самым наш побег в веселый фарс!

Это открытие нас страшно обескуражило. Хуже всего было то, что мы не могли обратиться с расспросом ни к кому из медицинского персонала, несмотря на самое хорошее отношение к нам многих из них, ибо это могло служить в случае удачного побега весьма серьезной уликой уголовного характера против спрашивавшего.

В конце концов, мы решили дать солдату максимальную, по энциклопедическому словарю Брокгауза, порцию, ибо у нормального организма она ведь не может вызвать смерть. Ну, а если организм окажется у солдата каким-либо исключительным, то это будет тем печальным случаем, от которого в жизни вообще не обережешься. Риск есть всегда риск. Здесь же риск идет во имя интересов партийной работы. На этом и успокоились. Через знакомую акушерку достали аптекарские весы, тщательно вымерили дозу.

„На ловца и зверь бежит". Иду я по набережной, заглядываю в окно винно-колониального магазина местного толстосума и, в числе выставленных в витрине вин, читаю: „полынная водка".

— Чорт возьми, полынная водка! Ведь полынь горькая. Значит, если в эту водку подбавить хлоралу, так ничего заметно не будет.

Сообщаю товарищам. С радостью бежим в магазин, покупаем полынной. Пробуем. Великолепно. Горечь чудесная. Когда мы сюда подбавили свою дозу хлорал-гидрата, дело уж получилось совсем другое.

Итак, первая часть задачи была решена. Редкозубов должен будет „полюбить" полыновку, мы ее начинаем ежедневно приносить ему вместе с другой передачей. Ею он угощает, предварительно, по рюмочке—другой своих конвойных.

Теперь вопрос о помещении, где спрятать Редкозубова. Частных обывательских квартир, которые бы нам настолько сочувствовали, чтобы согласились укрыть бежавшего из больницы Редкозубова, в Холмогорах не было. Два-три сочувствующих обывателя, водивших с нами компанию, были хорошо известны полиции и, конечно, обыски должны были быть направлены в первую очередь к нам и к этим сочувствующим. Да и, наконец, в городишке, где всего 800 жителей или немного более сотни домов, вернее домишек,

ведь ничего не стоит произвести поголовный обыск во всем городе. Значит, надо подыскать такое помещение, которое бы было недоступно полиции.

Наше внимание остановилось на доме-коммуне, где жили эс-эры и одна из членов нашего кружка эс-дэ-чка Львова. У них в доме был подвал. У нас явилась мысль подкопать под деревянную стенку этого подвала, сделать подкоп дальше под дом, устроить там маленькую камеру, куда и посадить Редкозубова, завалив и тщательно утрамбовав место подкопа. Конечно, большую камеру не выроешь, вентиляции там не удастся сделать и вообще хорошего мало, но где наш брат не пропадал—несколько часов, пока пройдет обыск. Редкозубов там выдержать сумеет, а потом мы его выпустим.

Через Львову мы решили обратиться к квартиронанимателям дома — Толмачевым. Эти эс-эры, к глубокой нашей радости, согласились помочь. Мы, вместе с хозяевами спустились в подвал, осмотрели его и нашли, что идея, пожалуй, хорошая. Оказывается, что благодаря болотистой почве, на которой стоит город, дома здесь нельзя строить прямо на земле, хотя бы и с фундаментом. Поэтому обычно на месте, где должен быть поставлен дом, вырывают ямы, обкладывают их деревянным тесом, вбивают в них столбы и на этих столбах уже ставят дом. Одной из таких ям и был тот погреб о котором я говорю. А так как дом был большой, то ям здесь должно быть несколько. Если подкопаться под деревянный сруб, то из погреба можно было попасть во вторую яму, ведущую дальше под дом. В одном более низком месте как раз у стены, отделяющей погреб от следующей ямы, стояла лужа подпочвенной воды. Здесь и надо рыть!

Когда мы вычерпали воду и начали подрывать в этом месте стену подвала, работа пошла очень быстро и скоро образовалось отверстие достаточно широкое, чтобы можно было пролезть человеку. Желанная для нас яма оказалась

под кухней, пол ее был расположен скатом к погребу и значительно выше пола последнего, благодаря чему там было совершенно сухо. Мы были в восторге, лучшего помещения для того, чтобы вполне надежно скрыть Редкозубова, трудно было и найти. Мы решили натаскать туда сена, досок, одеяло и вообще теплого платья, провизии и т. п., не забыли даже свечи. После того, как Редкозубов туда влезет, мы думали быстро забросать землей сделанное отверстие, хорошенько умять землю, а сверху, так как тут, как уже упоминал, было самое низкое место погреба, налить воды.

Мы не сомневались, что полицейские при обыске в погреб заглянут, но так как он был пустой, то едва ли у них явится охота спускаться в него, достаточно будет осветить его лампой, тем более, что лестница, ведущая вниз, была основательно поломана; если же туда и спустится один из „фараонов", то, конечно, меньше всего у него будет желание лезть в воду, неизвестно чего там ища. В том же, что у полиции не явится и мысли, что тут засыпан подкоп, мы не сомневались. Конечно, кое-какой риск был, но риск минимальный, а в таком деле элемента риска не быть вообще не может.

Таким образом, у нас было подготовлено самое существенное для удачного побега Редкозубова из тюремной камеры больницы. Осталось сделать только уже второстепенные подготовления.

Когда Редкозубову сообщили, что дело вытанцовывается, он начал обнаруживать большое нетерпение, да и мы понимали, что надо спешить, ибо, с одной стороны, быстро приближалась распутица,—у нас была надежда удрать из Холмогор еще до нее, — а с другой, темнота ночи быстро исчезла, с каждым днем приближалось время белых ночей севера, что, конечно, ухудшало шансы побега и, наконец, начинала грозить опасность скорого перевода Редкозубова из больницы в тюрьму.

В назначенный день утром мы принесли Редкозубову передачу, в которой были газеты, жидкий мед и полбутылки полынной водки с хлорал-гидратом. Было условлено, что ровно в 11½ часов ночи Редкозубов, угостив предварительно солдата водкой и тем усыпив его, выйдет в уборную, чамажет газету медом, приложит ее к стеклу окна и выдавит его. Газета, намазанная медом, прикладывалась к стеклу для того, чтобы не было звона разбиваемого стекла и не летели осколки вниз — стекло должно было не звенеть, а только треснуть, а осколки остаться на бумаге, приклеившись к ней медом. После этого, он перескочит невысокий заборчик и очутится на задворках больницы в огороде, где его встретит один из нас и проводит в приготовленное убежище. Так все было условлено часов в 12 дня, когда у Редкозубова был на свидании один из наших товарищей.

Часов в семь вечера мы послали Никитину в „коммуну“ с извещением, чтобы ждали гостя сегодня ночью, сделав последние приготовления. Каков же был наш ужас и растерянность, когда прибежала бледная и взволнованная Никитина и прерывающимся голосом сообщила, что эс-эры струсили и в последний момент решительно отказались впустить в свой дом Редкозубова. Взбешенный Вороницын и, кажется, Дубровинский бросились туда, но, несмотря на их настояния, угрозы и уговоры, эс-эры остались непреклонными.

Положение создавалось прямо-таки кошмарное: известить Редкозубова о предательстве эс-эров было уже нельзя, он должен был усыпить солдата, выдавить окно и вылезть на волю, а девать его было некуда... Мы были в отчаянии. Мысль лихорадочно работала, ища выхода... Вдруг кто-то из нас вспомнил, что упоминавшийся мною выше политический ссыльный Солдатов, от которого мы держались в стороне за его пьянство, живет один в маленькой

избушке, стоявшей посредине двора (его семья—жена и дочь только что уехали на родину).

— Знаете, товарищи, один выход—обратиться к Солдатову. Хотя и пьяница, но сам по себе парень славный, рабочий и эс-дек. Его домишко, вероятно, также построен над ямой, как и остальные, а если это так, то он, может быть, не откажется выручить товарища в этот весьма критический момент.

Это предложение было единственное, за которое можно было в наших обстоятельствах ухватиться. Немедленно же был командирован Вороницын для переговоров с Солдатовым. Уже начинало смеркаться, когда он пошел туда, минуты казались нам вечностью. Через полчаса Вороницын возвращается с извещением, что Солдатов согласился. Радости нашей не было конца, но нельзя было терять ни минуты. Время быстро бежало к роковому часу. Захватив с собой топор и небольшой ломик, мы один за другим конспиративно пробрались в домик Солдатова. Домик состоял из маленькой прихожей, кухонки и небольшой комнаты. Пол был простой, досчатый. Надо было, прежде всего, поднять две или три половицы. Если за ними окажется еще настилка из бревен, как это обычно бывает, то придется в них прорезать отверстие. Если это нам удастся и если под настилкой действительно окажется яма — мы спасены.

Надо ли говорить, с каким волнением мы приступили к работе. Чтобы поднять половицы, надо было прежде всего отодрать карниз-планку, которой по краям прибиты доски пола. То ли по нашей неумелости, то ли потому, что мы чересчур нервничали и торопились, но только карниз сорвать цельным нам не удалось, он поломался. Это было большое несчастье, ибо должно было броситься полиции в глаза. Но как бы то ни было, мы продолжали работу. С большим трудом были подняты две доски пола. Под полом действительно оказалась настилка из тонких бревен. Когда мы вырезали пилой (ручной) чурбашку из одного

бревна, то, к нашей бурной радости, перед нами открылось темное отверстие так желанной нами ямы. Работа кипела, отверстие в настилке все расширялось и расширялось... Когда отверстие достигло достаточных размеров, один из нас спустился в яму.

Увы, почти все дно ее было покрыто водой, и только в одном углу, самом высоком, находилось небольшое полусухое пространство, где едва-едва можно было лечь человеку. Это было значительно хуже, чем можно было ожидать: по сравнению с этим „помещением“ яма под „коммуной“ была роскошна. Но выбирать было больше нечего. Мало того, у нас не было даже возможности натаскать на единственное полусухое место сена и досок — все это было заготовлено там. Пришлось ограничиться тем, что мы дали туда наши одеяла и вообще все, что находилось под руками пригодного для подстилки или укрытия.

Между тем время шло... Смотрим на часы — четверть двенадцатого. Один из нас бежит встречать Редкозубова на условленное место: ходьбы туда не больше десяти минут, так что он, конечно, успеет быть на месте минут за пять до назначенного срока. Товарищ ушел, а мы занялись последними приготовлениями. Проходит четверть часа, двадцать минут, полчаса — Редкозубова нет. Мы начинаем беспокоиться. Тянутся еще минуты, такие длинные, тягучие... Настроение наше делается ужасным,— мы не представляем себе, что все это значит. Наконец, еще один из нас идет на разведку. Время течет еще медленнее. На душе еще тревожней. Особенно начинает нервничать Солдатов.

Пока мы сидели в избе Солдатова и терзались муками неизвестности, там за стенами произошло следующее:

Около 11 часов Редкозубов поужинал вместе со своим караульным солдатом, угостив его полынной водочкой. Солдату она очень понравилась, и он выпил охотно всю полбутылки. Проходит некоторое время, солдата клонит ко сну, он ставит ружье в угол, ложится около двери, оставляя

ее открытой, шутливо замечая Редкозубову —„смотри, парень, не убеги“, и скоро засыпает. Надо ли говорить, что это замечание на нервно-взвинченного Редкозубова, как раз собравшегося бежать, должно было подействовать отнюдь не успокоительно.

Когда солдат заснул, время для Редкозубова потекло страшно медленно, часы как бы совершенно остановились. Хотя часы показывали, что с того момента, как солдат заснул, прошло всего 10—15 минут, суб'ективно это время казалось целой вечностью. У Редкозубова начали мелькать опасения: а вдруг солдат проснется, вдруг придет кто-нибудь из больничной администрации и т. п. Не выдержал наш Редкозубов срока минут на 10—15, пошел в уборную, намазал газету медом, приложил к стеклу и надавил...

— Раздался такой треск,—рассказывал он нам впоследствии,—что, мне показалось, он должен быть слышен по всей больнице. Боясь быть застигнутым на месте, я быстро лезу в окно, выскакиваю на дворик, огладываюсь... Все тихо, никого нет. Быстро подбежал к забору, вскарабкался на него, перепрыгнул, попал в огород. Где же товарищ, который должен меня встретить? Кругом никого нет. Самочувствие мое было не из приятных. Я один, позади меня полуотравленный солдат, выдавленное окно, обратный путь отрезан. Надо итти, но куда? Города я не знаю, не знаю ни одной квартиры ссыльных, да к тому же я в одном пиджаке и без шапки, а время далеко не теплое, кругом белеет еще снег. Однако, оставаться здесь нельзя, надо бежать от этого места. Я совершенно без цели иду бродить по городу, куда угодно, только не оставаться здесь... Иду по совершенно пустынным улицам и поглядываю на дома. Везде темно, все спят. Наконец, подхожу к довольно большому дому, в котором светится огонь. Заглядываю в окно и, сквозь отверстие между косяком и спущенными занавесками, вижу кусочек стены, а на ней уголок полки с книгами. Поздно, не спят, есть книги, вероятно, здесь живут

политические! Терять мне было нечего, а выиграть я мог многое, подхожу к окну и стучу. В окне появляется чья-то физиономия, вглядывается и, увидев меня, как-то отшатывается от стекла. Немного погодя, я продолжаю стучать снова. Наконец, хлопает дверь, открывается калитка и из нее показывается как смерть бледная физиономия эс-эра Толмачева с глазами, остановившимися от ужаса.

— Э...—это вы, товарищ Редкозубов?

— Да, это—я, меня должны были встретить у больницы, но там никого не оказалось, мне деваться некуда, известите моих товарищей, что я здесь.

Хотели того или не хотели господа эс-эры, но положение политических ссыльных обязывает, — им пришлось впустить к себе Редкозубова до тех пор, пока он не свяжется с нами.

А в это время пришедший за 5 минут до срока, для встречи Редкозубова, к больнице товарищ стоит там и нервничает, а через несколько минут к нему подходит и другой посланный нами узнать, в чем дело. Оба стоят и ничего не понимают. Наконец, решают, что один останется дежурить, а другой вернется к нам и сообщит, что побег, вероятно, Редкозубову не удался. Идя обратно, он встретил стремглав бежавшую по улице жену Толмачева и от нее узнал, что Редкозубов давно вышел и находится у них. Он немедленно же отправляется обратно, снимает пост у больницы, тот бежит к нам, а сам отправляется к Толмачевым за Редкозубовым.

Проходит несколько минут после прибытия к нам „постового" и в дверь входит Редкозубов. Так как времени с момента его побега прошло уже не мало, и побег с минуты на минуту должен был обнаружиться, то мы сейчас же засовываем его в яму и быстро начинаем заделывать пол. Половицы положили обратно, прибили их снова гвоздями, забили карниз, а свежий излом его замазали грязью, чтобы он производил впечатление старого. Замуровав,

таким образом, своего товарища, мы начали смотреть, как теперь выглядит пол. Нашему настороженному вниманию ясно бросался в глаза излом карниза. Еще больше нас угнетало, что вынутые нами половицы уже не легли так плотно, как лежали остальные: когда на них наступали, то они явственно начинали зыбиться и слегка поскрипывать. Это нас сильно обескуражило, но сделать ничего уже было нельзя.

Окончив дело, мы быстро разошлись по своим квартирам. Напряжение нервов спало, появилось какое-то безразличие и усталость. Едва я успел уснуть, как меня разбудил сильный стук в дверь. Открываю. Передо мной исправник с полицией.

— Сегодня ночью убежал из больницы Редкозубов, разрешите осмотреть вашу квартиру.

Делаю изумленное лицо:—„Пожалуйста".

Потолпившись у меня в квартире, заглянув за печку, под кровать и зачем-то под подушки, полиция ушла. Обыски были у всех, но нигде Редкозубова не нашли.

Самый страшный обыск, конечно, в квартире Солдатова. Когда полиция пришла к нему, он не мог скрыть свою нервность и беспокойство. Это заставило полицию насторожиться и произвести здесь обыск очень тщательный.

— Я страшно боялся, — рассказывал потом Солдатов, чем-либо выдать местопребывание Редкозубова. Я чувствовал, что полиция заметила мое нервное состояние; мне казалось, что она следит за моим взглядом, и я делал мучительные усилия, чтобы не посмотреть на пол, но глаза мои как-то сами тянулись к полу... Мое состояние достигло высшей тревожности, когда я заметил, что исправник стоит как раз на тех досках пола, которые мы вынули, и машинально слегка покачивается на них... В стремлении как-нибудь не выдать местопребывание Редкозубова взглядом, я поднял глаза к потолку.

— Посмотрите-ка на чердаке, — говорит вдруг исправник, схватив мой взгляд.

Полицейский лезет на чердак и начинает там шарить. Внимание полиции от полу было отвлечено.

Весть о побеге Редкозубова, аресте солдата, которого смена нашла спящим, о предании его суду, страшно взбудоражила местный гарнизон. Солдаты рассыпались по городу и принялись сами за поиски. Облазили все чердаки, сараи, разбросали поленицы дров, перерыли сеновалы, заглядывали в колодцы, выгребные ямы и проч. Затем рассыпались по окрестностям, обшарили стоги сена, овражки, кустарники и т. д.

На наше несчастье, в эту ночь вскрылась Двина, и Холмогоры оказались со всех сторон окруженными водой.

— Бежать из Холмогор он не мог,—в один голос говорила и полиция, и солдаты,—он где-нибудь здесь.

— Ну уж,—ругались солдаты,—если поймаем—в куски разорвем.

Обыватели были вполне на стороне солдат и полиции и в свою очередь помогали розыскам. Мы оказались окруженными не только моральной атмосферой злобы, недоверия и подозрительности, но в буквальном смысле каждый наш шаг был взят под надзор всего населения. Как только смеркалось, дома, где мы жили, окружались солдатами и обывателями, которые и дежурили около наших квартир до утра. А утром ежедневно являлась полиция с обыском.

При этих условиях никто из нас зайти к Солдатову не решался, да и он никуда не показывался. Что делалось у него в квартире, как себя чувствовал Редкозубов в подпольи, мы не знали. Так прошло дня два-три.

Солдатов не выдержал нервного напряжения и запьянствовал. Когда мы увидели его на улице пьяным, это нас страшно обеспокоило. Решили, что необходимо зайти к нему и выяснить положение. Мы чувствовали, что без нашей моральной поддержки Солдатов долго не выдержит. Но как

туда пройти — ведь все прекрасно знали, что мы от него держимся в стороне, при этих условиях посещение его квартиры кем-либо из нас могло поэтому дать результаты крайне нежелательные...

В этих критических обстоятельствах мы прибегли к помощи местной акушерки Поповой, пожилой уже женщины, очень нам сочувствовавшей и впоследствии работавшей в Москве по технике. Пришлось посвятить ее в дело, предложить зайти к Солдатову и все разузнать.

Принесенные ею сведения были очень не утешительны: Солдатов донервничался до галлюцинации, пьет без просыпа, плачет, а Редкозубов, сидя уже три дня в сыром подпольи, простудился и начал кашлять. Его кашель, который явственно слышен в квартире, приводит Солдатова в бешенство. Путем перестукивания Редкозубов сообщил, что он уже теряет последние силы. Он совершенно закоченел.

Надо было принимать какие-то героические меры. На совещании нашей группы было решено днем выпускать из подвала Редкозубова часа на два, чтобы дать ему хоть немного придти в себя и немедленно же организовать дальнейший побег. Так как Двина вскрылась и главная масса льда прошла, мы решили отправиться в Архангельск на лодке. Но где взять лодку? Хотя на берегу лежало их очень много, но все они требовали ремонта, конопатки и осмолевания. Да и кто дал бы нам лодку добровольно? Если взять у кого-либо „покататься“, что в другое время, конечно, было бы сделать легко, то сейчас это не так просто: должно было броситься в глаза, что мы собираемся ехать „кататься“ на не осмоленой лодке.

Помочь нам в этом деле взялась та же Попова. Попова жила с сестрой в своем доме, это были дочери местного умершего благочинного. У них была своя лодка. И вот она поручила дворнику начать смолить и конопатить лодку. Когда лодка была готова, мы решили бежать.

План побега был таков. Днем сестры Никитины, Вороницын и Дубровинский, двумя парочками, отправляются на лодке, на глазах у полиции и обывателей, на пикник, на ту сторону реки, и дожидаются там до вечера. С наступлением темноты Редкозубов переодевается в женское платье и вместе со мной, под ручку, в качестве моей дамы, идет на условленное место за город, за полверсты ниже Холмогор, куда в 12 часов ночи пристает наша лодка.

Смеркается. Я сижу у себя на квартире и жду. Легкий стук в окно, выхожу на улицу и вижу силуэты двух женщин—Попову и переодетого Редкозубова. Из последнего получилась колоссальная бабища, страшно высокая, широкоплечая с весьма угловатыми движениями и неловкой походкой. Тем не менее, нежно склонившись друг к другу, при чем моя дама конфузливо куталась от любопытных взглядов в шаль, мы отправляемся к условленному месту. Придя туда, сели на бугорок на берегу и ждем. Время идет к 12—вот-вот под‘едет лодка.

Пробило 12—лодки нет. Проходит ½ часа, час,—лодки не видно. Начинаем беспокоиться. Время идет и идет, начинает брезжить рассвет, а лодки нет как нет... Положение становилось прямо отчаянным. Вернуться обратно нельзя, Солдатов сказал определенно, что он больше ни за что не примет, оставаться на берегу—но уже занимается заря, отойти от берега и спрятаться где-либо нельзя — кругом вода, болото. Наконец, совсем рассвело, и маскарад Редкозубова бросался в глаза, а снизу уже появляются лодки из ближайших деревень, спешащие на базар в Холмогоры (на наше несчастие день оказался базарным)...

Когда мы уже окончательно отчаялись в спасении, видим, что снизу поднимается бичевой наша лодка. Через несколько минут перед нами предстали грязные, мокрые товарищи. Оказалось, что переехали они на ту сторону реки очень быстро и хорошо, прождали там спокойно до темноты и собрались ехать к назначенному месту, но попали в силь-

ный водоворот, из которого никак не могли выбраться, лодку заворачивало сильной струей течения и возвращало на старое место. В стремлении выбраться из водоворота товарищи налегли на весла и сломали одно из них. Запасных весел у них не было, и лодка уже вполне стала игрушкой водоворота. Целых два часа бились они, гребя одним веслом и оторванными со дна досками. После колоссальных усилий, держась берега, им удалось, наконец, выбраться из водоворота, значительно ниже Холмогор, так что пристали они к нашему берегу верст на 5 ниже, чем надо было. Подниматься на веслах нечего было и думать, можно было итти только бичевой, но веревок с собой они не захватили. Пришлось нашим девицам снять свои нижние юбки и рубашки, то же сделали со своим бельем и мужчины, разорвать все это на полоски, из которых свили веревку, чтобы тащить лодку. Никитины сидели в лодке и правили, а Дубровинский с Ворницыным тянули ее по берегу на этом своеобразном канате. Берег все время прерывался овражками, превратившимися в бурные потоки, которые товарищам пришлось переходить или по горло в воде, или даже вплавь. В довершение лодка начала немного течь.

Как бы то ни было, но радость наша была неописуема— лодка, наконец-то, все же налицо, Живо в лодку и отдались стихии!

Бурное течение подхватило и понесло, грести почти не надо было, только править. Холмогоры быстро начали исчезать из глаз. Чем ниже спускались, тем шире и шире становилась Двина. Поднялся легкий ветер, по необ'ятной шири разливающейся реки заходили волны, лодка запрыгала. Ветер начал крепчать, по Двине забегали белые барашки, лодку начало захлестывать. Один сидел на руле, двое на веслах (из которых одно было грубо сделано („самотес“) из доски), а четвертый принужден был все время вычерпывать воду.

Скоро заметили, что лодка—почти не просмоленная и плохо

законопаченная—дала течь в нескольких местах. Чем дальше, тем все больше и больше набиралось в лодку воды, вычерпывать не успевали. Скоро стало ясно, что лодка выбывает из строя, необходимо выброситься на берег... Вдали на берегу показалась какая-то избушка. Сюда и решили высадиться и попытаться с помощью живущих в ней хотя бы немного починить лодку.

Пристали, оказывается, около какой-то сторожки. Подошел пожилой крестьянин, которому показалось в высшей степени странно, что четверо „господ“ (по платью и по всему обличию) едут куда-то в такую бурную погоду по разлившейся реке в утлой и худой лодченке. За холмом в нескольких десятков саженей находилась деревня, куда он и предложил зайти. Делать было нечего, ехать дальше нельзя, отказаться итти в деревню—значило бы возбудить против себя совершенно нежелательные подозрения и организовать за собой погоню со стороны сельских властей.

Решили действовать на ура. Об‘яснили сторожу, что это едут члены комиссии по обследованию берегов Двины, степени их размыва в половодье, что делало хоть немного понятным путешествие в лодке, и что, в виду того, что лодка испортилась, необходимо здесь будет нанять другую, чтобы везти „комиссию“ до самого Архангельска.

— Я ничего не знаю, пожалуйте, господа, в деревню, может кто и согласится, ведь непогода большая.

— Ну, веди нас в дом, где есть хорошие и большие лодки.

Вот и деревня. Весть о прибытии чиновников живо разнеслась по избам, и к нам потянулся народ. Каждый входил, здоровался и не спускал глаз. Скоро приходит десятский и начинает косвенно выпытывать: кто и что. Авторитету „чиновников“ много помогли две вещи. Во-первых, у Вороницына была на себе охотничья тужурка с зелеными отворотами—она великолепно сошла за форменную чиновничью, земельного ведомства. Второе—это бинокль, штука

совершенно неизвестная полудикарям крестьянам, возбудившая в них большое удивление и почтение, особенно, когда Дубровинский стал с большой важностью разбирать его и протирать каждое стеклышко в отдельности. Разговор с десятским и другими крестьянами носил приблизительно следующий характер:

— Как же это вы, господа, на такой лодке пустились в путь? Откуда изволите ехать?

— Мы члены комиссии по обследованию берегов Двины. Что у вас во время половодья берега здорово подмывает?

— Да, уж что и говорить, чисто наказание божие. На старом месте вся деревня обвалилась, вот таперече на новое место перенеслись.

— Ну вот, губернатор узнал, что мужикам большое утеснение от реки весной бывает, и послал нас обследовать, где и как надо берег укрепить, чтобы деревню не подмывало.

Крестьяне слушали с наивным удивлением и дивовались господской храбрости; не боятся, дескать, „обследовать" на такой посудине, как эта злосчастная лодка. Пришедшие с осмотра лодки крестьяне заявили, что лодку починить скоро нельзя и советовали ехать прямо на лошадях в Архангельск. Это было уже совсем опасно.

— Нет, дядя, это нам не подойдет, мы должны все берега осмотреть, если нельзя починить лодку сейчас, то мы вам ее оставим и пришлем за ней через недельку, а сейчас вы отвезите нас на баркасе.

Между тем, погода все более и более разыгрывалась. Ветер крепчал, вздымая на Двине чудовищные волны. При этих условиях желающих ехать не оказалось.

Тогда решили сломить сопротивление крестьян ,,угощением". Послали за водкой, что называется, ,,загуляли" и начали подносить стаканчик за стаканчиком крестьянам; особенное внимание обратили на хозяина дома, у которого был большой баркас и трое взрослых сыновей. После изрядного

количества „подношений“ натура крестьянская размякла, дедушка стал разговорчивее. Кончилось тем, что, выпив приблизительно около четверти водки, хозяин согласился со своими сыновьями свезти „господ чиновников“ на баркасе до Архангельска, за 25 рублей. Хотя цена была явно несуразно велика по тем местам, но пришлось согласиться. Часа в четыре дня баркас с пятью полупьяными мужиками и беглецами отчалил, и часов в 10—11 вечера уже под'езжал к Архангельску.

В заключение последний курьезный эпизод. Когда баркас причалили к берегу, все живо выскочили из лодки и почти бегом полезли вверх по берегу.

— Барин, барин, вдруг доносится крик с лодки, а что же вы вещи-то забыли.

Один из крестьян держит в руках женское одеяние Редкозубова—грязную юбку, кофточку и шаль, высоко поднимая все это над головой.

— Ну, вот что, дядя, возьми это себе на память и передай своей бабе,—бросили ему в ответ „чиновники“, продолжая карабкаться на берег.

Скоро все скрылись во мраке ночи. Побег, в сущности, был закончен.

На баррикады в Петербург!

В конце 1904 года, в эпоху „весны и диктатуры сердца“ [1]) Святополк-Мирского, будучи под судом московской судебной палаты за распространение осенью 1904 г. „преступных воззваний“, я был выпущен по болезни из архангельской тюрьмы и отдан под гласный надзор полиции города Архангельска. Выходило, что я, будучи политическим ссыльным в Архангельскую губернию, находился теперь под двойным гласным надзором полиции: и в качестве ссыльного, и в качестве подследственного, выпущенного до суда из тюрьмы.

В Архангельске в это время была довольно многочисленная колония политических, состоящая в большинстве своем не из социалистов-крамольников, а из оппозиционных элементов „общества“. Здесь были уфимские земцы, Стахевич, известный в то время доктор Мартынов (либерал, прославился своим открытым письмом к Плеве, за что и

---

1) После убийства Сазоновым министра внутренних дел махрового реакционера Плеве, министром был назначен Святополк-Мирский, который заявил в своей программной речи, что правительство „доверяет“ и „сердечно относится“ к обществу. Этот цинизм (вопрос ведь мог стоять о доверии *народа к правительству*, а не наоборот) был принят либералами как начало новой эры—„весны“ и „эпохи доверия“, эпохи „диктатуры сердца“ и. т. п.

попал в Архангельск), эсерствующий приват-доцент петербургского университета М. Ю. Гольдштейн, несколько адвокатов, врачей и т. п. Социал-демократы и социалисты-революционеры обычно шли в уезды, а здесь их было значительное меньшинство, главным образом, оставленных временно по болезни.

На одной из главных улиц у политических был свой открытый клуб, где в общем время проводилось не дурно: наряду со всевозможными рефератами, здесь можно было послушать музыкально-вокальный концерт и прочее.

Девятого января вечером захожу в клуб и вижу там большое возбуждение: окруженный взволнованной толпой ссыльных, Гольдштейн читает по бумажке секретное сообщение из Петербурга архангельскому губернатору о событии 9-го января, которое Гольдштейн только что получил через свои „связи“ в канцелярии губернатора.

Это известие поразило нас всех, как гром среди зимнего неба.

— Товарищи, да ведь это революция. Сейчас, вероятно, в Петербурге идет баррикадный бой!..—кричали возбужденные голоса.

Меня это сообщение захватило полностью. Да, это революция! В Питере, наверно, сейчас дерутся, а я сижу здесь! Это преступно, это недопустимо, я должен быть там. Немедленно же, сегодня же бежать в Петербург!

Но осуществить это решение было не так-то легко, у меня не было ни паспорта, ни денег, ни явок в Петербург. Тем не менее, я твердо решил уехать в тот же день,—поезд отходил часов в 12 ночи. В течение тех двух часов, которые оставались в моем распоряжении, я сумел только достать в кассе взаимопомощи политических не то 40, не то 45 рублей на дорогу и адреса одного наборщика из газеты „Новая Жизнь“ и какого-то приказчика. Паспорта достать не удалось. И все же я твердо решил ехать. Я представлял себе Петербург охваченным революцией,

с кипящей на его улицах баррикадной борьбой, а при этих условиях на кой чорт нужен паспорт, да и в явках особенной нужды, вероятно, не будет!

Итак, с 40 рублями в кармане, из которых рублей 15 истратил на билет, без всяких вещей, без паспорта, с весьма проблематичными явками, я сажусь в полночь в поезд и еду.

В поезде было людно и шумно. Как скоро выяснилось, многие из пассажиров ехали в Петербург,—это были рабочие и служащие различных петербургских предприятий, уроженцы Архангельской губернии, возвращавшиеся из побывок и отпусков к месту службы. О событиях в Петербурге никто, конечно, еще не имел никакого понятия, ибо они официально еще не были опубликованы. Больших трудов стоило мне держать язык за зубами, хотелось кричать о них, рассказывать, звать на борьбу и на протест. Однако, конспиративные соображения, опасность провалиться не доезжая до Питера, заставили меня молчать.

О событиях в Питере мы прочли из правительственного сообщения по приезде в Ярославль в местных газетах. Впечатление на всех это сообщение произвело колоссальное. Языки развязались, послышались весьма резкие суждения. Возмущались и негодовали не только рабочие, но и люди в чуйках и поддевках. Я старался молчать, ограничиваясь ролью слушателя и наблюдателя, а нетерпение мое и нервное напряжение, чем ближе поезд подходил к Питеру, тем все более и более наростало. Кажется, в Бологом я услышал от севших вновь пассажиров сообщение, окатившее меня как ушатом холодной воды, что в Петербурге уже „все спокойно". Это было так для меня внутренне неприемлемо, что я не поверил, я хотел сохранить свое убеждение в том, что еду непосредственно на открытую уличную борьбу с правительством.

— Ну, что же,—думал я,—если сейчас и нет боя на улицах, то это, вероятно, временный перерыв, нет сегодня— будет завтра,

Мысль о том, что Питер, после такого чудовищного расстрела, может быть спокоен, совершенно не укладывалась в моей голове.

Приехал я в Питер рано утром не то 11-го, не то 12-го января. Выхожу на Знаменскую площадь и с любопытством озираюсь, ища следов борьбы. Кругом все тихо и спокойно. Первое, что мне бросилось в глаза, это городовые с черными повязками на ушах. Моему возбужденному воображению эти черные повязки—самые обычные наушники, которые надевали столичные полицейские на посту во время морозов—показались бинтами...

— Ага, здорово же вас, голубчиков, видимо, побили, у каждого голова забинтована,—с чувством злорадства подумал я. Уже позднее, когда я понял, в чем дело, мне почему-то было очень стыдно своей первоначальной мысли...

Как бы то ни было, раз я уже в Питере, надо, прежде всего, искать явки. Явка к наборщику была где-то на Петербургской стороне. Так как было еще рано, то я пошел пешком и часам к 10-ти утра нашел нужный мне дом. Но, увы, наборщика не оказалось. Хозяева с тревогой сообщили мне, что он ушел вместе с другими на демонстрацию 9-го января и не вернулся, они считают его убитым или раненым, лежащим где-либо в больнице. Направляюсь разыскивать приказчика и тоже неудача,—выехал из Петербурга...

Таким образом, 12-го января, в то время, когда в Петербурге свирепствовала чрезвычайная охрана, я очутился на улице без связей и без паспорта, с несколькими рублями в кармане. Только тут я начал реально чувствовать всю необдуманность и скороспелость своего побега из Архангельска.

Что мне делать, я и сам не знал, но у меня и мысли не появилось, пользуясь тем, что у меня еще оставалось денег на обратный билет, вернуться обратно. Наоборот, все мое внимание было направлено на то, чтобы ознакомиться

с Петербургом, где я был впервые, и выяснить настроение рабочих кварталов. Я зашел в чайную, напился чаю, обогрелся и направился искать рабочие кварталы.

В этом первом знакомстве с Петербургом время летело совершенно незаметно, я ходил из улицы в улицу, заходил греться в чайные и опять шел дальше. Вечером я вновь очутился на Петербургской стороне, вновь зашел на квартиру наборщика, узнал о неуспешности розысков хозяевами его по больницам, и с тяжелым чувством одиночества вновь очутился на улице. Часов в 10 вечера неожиданно для меня начали закрываться чайные, трактиры и другие заведения, где можно было посидеть и обогреться, мост на Неве были разведены, улицы быстро опустели, погрузились во мрак и по ним начали дефилировать конные разъезды. Я почувствовал, что мое положение „совсем пиковое"... Деваться мне некуда и, если не сейчас, то в ближайшие часы я должен буду попасть в лапы обхода К тому же мороз, довольно сильный и днем, к ночи ста крепчать, а мое ватное пальтишко представляло от нег плохую защиту.

Стараясь избежать встречи с патрулями, я свернул в бс ковые переулки, бродя с одним желанием: где нибудь от дохнуть и погреться. Вдруг вижу огонек, подхожу: „Ноч ная чайная для извозчиков". Кажется, в жизни своей я та ни чему не радовался, как этой чайной. Захожу туда и виж картину: извозчиков нет, но в низкой, страшно грязной, ком нате, сплошь заставленной длинными столами и лавкамі в разных позах, сидят человек 20—30 разного рода обс рванцев, перед каждым из них стоит чайный прибор (дв чайника и чашка). Однако, пьют чай очень немногие, бол шинство из них, склонившись на стол, спят, держа шапк в руках (позже я узнал, что шапку класть зря здесь н полагается: живо стащат).

Хотя я и не блистал шикарным костюмом, но все ж мое в общем крепкое черное пальто явилось резким пятно

„барства“ на фоне всей этой оборванной братии, этих бывших людей, обитателей „дна“. Я это и сам почувствовал независимо от тех взглядов, которые на меня начали бросать еще не спящие.

С чувством какой-то неловкости я скромненько пробрался вперед к стойке, сел за ближайший столик и спросил чаю. Грязный, взлохмаченный половой принес мне „пару чая“, смотря на меня, как мне показалось, тоже подозрительно. Отогреваясь горячим чаем, я думал посидеть немного, а затем пойти „на авось“ и, по возможности избегая встречи с патрулем, отыскать где нибудь еще такую же чайную и так прокоротать ночь. Но скоро усталость взяла свое, я совсем засыпал, двигаться не хотелось.

За стойкой сидела какая то довольно молодая женщина с усталым и помятым, но довольно симпатичным лицом, Взглянув на меня раз—другой и, видимо, заинтересовавшись необычным в их чайной посетителем, она заговорила. Отчаянная мысль мелькнула в моей голове: человек, как будто, симпатичный, что я теряю, если попытаюсь прибегнуть к ее помощи?.. И я рассказал ей, что я приехал искать работу, должен был остановиться у товарища, но его убили 9-го января, что где-то в чайной у меня вытащили паспорт и я теперь не знаю, что делать,—деваться мне сейчас некуда, а на улице ходят патрули, которые могут задержать.

Женщина выслушала мой рассказ с большим вниманием и сочувствием, и я увидел с ее стороны искреннее желание помочь мне. Она мне сказала, что у них в чайной для меня быть далеко не безопасно, что с минуты на минуту надо ожидать обхода агентов сыскного отделения (уголовный розыск), которые проверяют у всех паспорта и задерживают подозрительных, что меня они обязательно задержат, как беспаспортного. Мне ничего не оставалось после этого, как поскорее убраться оттуда, но и на улице опасность была не меньше...

Наконец, женщина придумала: у ней за стойкой немного в отдалении стоял столик. Она меня пригласила к себе за стойку, так сказать в хозяйское помещение, и предложила мне сидеть тут в качестве ее брата, пришедшего навестить ее.

— Здесь они вас проверять, наверно, не будут, а если спросят, то я за вас отвечу. Как вас зовут?

Я сказал первое попавшееся имя.

За стойкой, в разговорах со своей новой знакомой, причем я фантазировал во всю, рассказывая ей про себя турусы на колесах, я начал чувствовать себя довольно хорошо; в будущее как будто появился какой то просвет. Вдруг, в чайной движение: отворяется дверь, входит околоточный надзиратель и несколько фигур в штатском, и начинается процедура обхода сидящих.

— Эй ты—вставай,—трясет за плечо спящего один из агентов.

Тот мычит и не просыпается. После долгих усилий, когда его почти насильно ставят на ноги, тот начинает долго шарить в дырявых карманах и за пазухой и, наконец, заявляет, что в кармане, вишь, дыра и паспорт он, значит, через нее выронил. Суб'екта немедленно забирают „для выяснения личности".

Я сижу за стойкой с самым непринужденным видом, лениво потягиваю из стакана, помешиваю в нем ложечкой, изредка перекидываясь словами со своей „сестрицей". Вскоре она отошла от меня, с ней разговаривал о чем то околоточный. На меня обход не обратил никакого внимания и вскоре удалился, уводя с собой арестованного.

— Ну, теперь,—говорит моя „сестрица".—ты, Петя, можешь отдохнуть до утра, пока я не сменюсь, иди вон за перегородку и приляг там.

Это было сказано нарочно громко при половом. Я не заставил себя долго ждать и с наслаждением развалился на достаточно таки оборванной и грязной кушетке.

На утро, с чувством глубокой признательности, расстался я с моей знакомой незнакомкой и вновь принялся за поиски каких-либо „зацепок“, которые позволили бы мне выбраться из того положения, в какое я попал. Однако, как я не перебирал в своей памяти, кто бы мог быть в Питере из моих знакомых или партийных товарищей, я никого не находил.

Наконец, у меня мелькнула мысль пойти в редакцию какой-либо из либеральных газет, вроде „Новой Жизни“ или „Сына Отечества“, повидаться с секретарем редакции, прямо сообщить ему о том, кто я и в каком положении очутился и настоять на том, чтобы он связал меня с партийной публикой.

— Ведь не может же быть,—думал я,—чтобы у них не было знакомства с эс-деками. Конечно, он сначала примет меня за шпика и будет всячески отбояриваться от меня, но, авось, моя настойчивость тут поможет, ведь мне все равно или „революционным путем“ удастся добиться связей с партией, или придется попасть в руки полиции.

С этими думами в твердой решимости не уходить ни за что из кабинета секретаря редакции до тех пор, пока он меня не свяжет с эс-деками, я решительно зашагал с Петербургской стороны на Невский.

Но прибегнуть к этому решительному средству мне не пришлось, счастье неожиданно мне улыбнулось. Проходя по Дворцовому мосту, я был остановлен окриком:

— Залежский, это вы?

Невольно приостанавливаюсь и поворачиваю голову на окрик. Передо мной на извозчике господин с поднятым воротником шубы.

— Охранник,—подумал я,—и инстинктивно отвернувшись, двинулся было дальше, однако, бросив еще быстрый взгляд на фигуру, сидящую на остановившемся около меня извозчике, узнаю в ней одного из архангельских ссыль-

ных, социал-демократа, некоего Экка, уехавшего оттуда по окончании срока ссылки, месяца за два до меня.

Обрадовался ему как другу, как брату.

— Да, это я. Только что оттуда...

— Ага, ну садитесь со мной, я еду в столовую, там пообедаем и поговорим...

Я был спасен и в тот же день был на партийной явке.

Случай—враг и случай—друг...

Жизнь революционера-подпольщика полна случайностей „добрых“ и „злых“. Одной из таких и пренеприятных случайностей является, например, встреча с агентами охранки, следившими за тобой когда-либо раньше и потому хорошо знающими тебя в лицо.

В начале лета 1905 года я еду из Москвы в Нижний на партийную работу. В мундштуке папиросы у меня партийная явка на тонкой папиросной бумаге, в кармане—паспорт на имя Всеволода Петровича Воронова, потомственного почетного гражданина города Москвы. Еду я в третьем классе, вагон переполнен. Вдруг, глаза мои встречаются с чьими-то другими, пристально на меня смотрящими. Вглядываюсь — удивительно знакомое лицо, где-то я его хорошо и много раз видел.... Я уже поднялся было, чтобы подойти к незнакомцу, как, вдруг, он, очевидно, поймав мое намерение, как-то конфузливо переводит глаза в сторону и нервно ерзает на месте.

— Ба, да это шпик, который так усердно сопровождал меня по пятам года три тому назад в Казани!

Эта встреча не предвещала ничего хорошего. Раз это казанский шпик, то он прекрасно знает, что я сослан в Архангельскую губернию и, конечно, ему не менее

хорошо известно, что я бежал оттуда и разыскиваюсь депар
таментом полиции. Что делать? Я не сомневаюсь, что н
первой же станции буду арестован жандармами.

Чтобы проверить, узнал ли он меня и считает ли нужны
следить за мной, я поднимаюсь с места, иду якобы в убор
ную, а сам перехожу в другой вагон. Не проходит и десят
минут, как в вагоне появляется его фигура и, заметив меня
спокойно и не глядя проходит дальше.

— Кончено. Он меня узнал и сейчас задержит.

Мысль мучительно ищет исхода: забраться в какой ни
будь отдаленный вагон, затеряться в толпе при остановк
поезда на станции, переждать здесь день и постаратьс
удрать с каким-нибудь ночным или товарным поездом....

Приближается станция, я поднимаюсь и иду из вагон
в вагон в сторону, противоположную той, куда проше
шпик. Но, увы, он уже, видимо, смекнул, что я намереваюс
улизнуть и следит за мной неотступно. Он идет за мно
на некотором расстоянии и старается не терять из виду.

— Остается одно: когда поезд будет подходить к станци
и немного замедлит ход, выпрыгну на ходу и удеру.

Приняв это решение, я поворачиваюсь обратно, стараяс
попасть в последний вагон. Прохожу мимо равнодушной фи
зиономии шпика, выхожу на площадку, оглядываюсь—в две
рях за стеклом маячит его рожа.

Быстро перехожу еще вагон, другой. Поезд подходи
к станции, прошел семафор. Выскакиваю на площадк
и прыгаю на полотно. Ноги как-то совсем легко касаютс
земли, подкашиваются, я падаю и перевертываюсь раза дв
по земле через голову. Спрыгнул в общем благополучно
немного помялся, изорвал на коленке брюки, но ничего не
поломал. Поднимаюсь и бегу. Вдруг, слышу сзади:

— Караул, держите, вор!

Оглядываюсь и вижу бегущего за мной моего шпика
без шапки с поцарапанной физиономией, прихрамывающего
Оказывается, он также бросился с поезда вслед за мной!

Его крики, растерзанный вид, также как, конечно, и мой, привлекли на себя внимание проходящих, публика бросилась за мной и не прошло несколько минут, как я был уже задержан.

Нас повели на станцию, шпик пошептался с жандармом и скоро я очутился в жандармской комнате.

— Что, господин Залежский, неудалось вам уйти, — с оттенком самодовольства бросил мне шпик. — Ну, и ловкий вы все-таки и отчаянный какой.

Я ответил презрительным молчанием. Скрываться мне было смешно, поэтому я подтвердил свою самоличность, вручил жандарму свой нелегальный документ и очутился в местной каталажке, ругаясь и злясь на глупую случайность.

Скоро меня отправили в Рязанскую тюрьму, а оттуда приблизительно через месяц, после того, как была закончена необходимая переписка обо мне, я пошел этапом через Москву и Ярославль обратно в Архангельск.

В Москве я попал как раз ко времени отхода этапа на Ярославль; в последнем же мне пришлось просидеть в тюрьме дней шесть. Наконец, нас берет Ярославский конвой, который должен был довести этап до вагонов Архангельско-Вологодской железной дороги на той стороне Волги. Железнодорожного моста через Волгу у Ярославля тогда еще не было, переправа через реку происходила на специальном пароходе.

Во дворе тюрьмы всех нас, этапников, построили в затылок рядами по четыре человека. Получилась довольно внушительная колонна, так как всего арестантов было, сколько помнится, двести слишком человек, из них политических человек 35. Нас поставили в хвосте колонны, за нами стояли женщины. В то еще „либеральное" по отношению к „политикам" время, мы, политические, не только шли по этапу в своем платье, но нас и не заковывали в ручные кандалы, как всех остальных, которых „наручнями" сковывали за руку попарно.

Так как „политиков“ было нечетное число, то я посл того, как все товарищи выстроились по четыре человека остался в одиночестве (у меня не было ряда) и меня прик кнули к последнему ряду уголовных, где было всего тр человека—так что со мной и этот ряд делался полным.

Я шел в ряду уголовных также, как и все политики, бе наручен.

Окруженные тесным кольцом солдат, мы длинной колон ной дефилировали по улицам Ярославля от тюрьмы к при стани. Темные ряды политиков резко выделялись на серо фоне арестантской одежды уголовных и привлекли к себ всеобщее внимание прохожей публики. По бульварам з нами шла толпа, с которой мы изредка перекидывалис словами, несмотря на окрики конвойных. Среди толпы был много местных студентов и курсисток. Мы им кричали, чт удобнее разговаривать на той стороне Волги (здесь, в городе солдаты должны были из боязни начальства держать себ строго).

По прибытии на пристань нас изолировали от осталь ной публики, пока, наконец, не начали грузить на специ альный пароход для переправы. Процедура погрузки проис ходила так: по сходням на пароход шел ряд арестованных сзади него солдат, следующий ряд и опять солдат и т. д Так нас погрузили в трюм и пароход отчалил.

На той стороне Волги дожидался вологодский конвой который присоединялся у парохода к ярославскому. Оба кон воя вместе шли к вагонам, здесь вологодский конвой при нимал от ярославского арестованных счетом, получал и бумаги, а затем начинал поверку каждого персонально п проходному листу.

Когда мы под‘ехали к пристани на той стороне Волги и пароход бросил сходни, началась та же процедура выгрузки часть ярославского конвоя сходит на берег и вместе с во логодским встречает наши ряды. Опять двигаемся по сход ням — конвойный, за ним ряд арестованных и сзади опят

конвойный. По бокам охраны нет. Перед лицом вологодского конвоя ярославцы форсят строгостью и деловитостью: слышатся окрики—„живей“, в „затылок“, „не гляди по сторонам“ и т. п.

Быстро, ряд за рядом, уголовные взбегают по доскам на кручу берега, на котором дожидаются любопытные и родственники этапников с кулечками и свертками передачи. То тот, то другой из „вольной“ публики старается приблизиться к рядам арестованных и сунуть своему родственнику или знакомому передачу.

— Не подходи! Нельзя подходить к арестованным, — кричит шокированный этим перед вологжанами начальник ярославского конвоя, — конвойный, чего зеваешь, отгоняй вольных!

Молоденький солдатик бросается к сходням с берега и начинает отталкивать публику. В это время по сходням выходит на берег мой ряд — трое уголовных и я, крайний, в штатском платье „вольного“ человека.

— Отойди, отойди,—кричит солдат, махая рукой.

Я в это время как-то загляделся в сторону, где стояла группа студентов и курсисток, и немного отделился от ряда. Солдат принимает меня за вольного и толкает:

— Отойди!

Увидав солдата, совершенно инстинктивно делаю шаг опять к своему ряду, от которого немного отделился.

— Да отойди, говорят тебе, — заорал на меня солдат и так толкнул рукой, что я не успел очнуться, как уж очутился в стороне от этапа.

Я остановился, растерянно оглядываясь. А этап продолжает идти, не обращая на меня никакого внимания. Мгновение и меня окружает группа учащейся молодежи, на которую я только что загляделся и на глазах которой произошел весь этот инцидент.

Молодежь приняла во мне самое горячее участие. Сейчас же были собраны деньги, один из студентов побежал

на берег, нанял рыбачью лодку, которая немедленно и п
ревезла нас обратно в Ярославль, куда я вступил уж
вольным человеком, уйдя оттуда полчаса тому назад ар
стантом.

Я не сомневался, что меня сейчас же хватятся и, к
нечно, как на вокзале, так и на пристанях начнется уси
ленная слежка, будут искать и ловить меня.

Студенчество быстро сорганизовало отправку меня вни
по Волге на лодке, до первой пароходной пристани, снабди
студенческим видом и форменной фуражкой. Часа через тр
я уже был на пароходной пристани одной из дачных мест
ностей Ярославля, лежащей на Волге, в качестве отдыхак
щего студента.

Вскоре подошел пароход и я продолжил свое прерванн
месяца два тому назад путешествие в Нижний.

Что касается конвоя, то, как я узнал впоследствии о
товарищей, от которых я отбился так счастливо, он, не по
дозревая убыли в рядах этапа, довел его до вагонов (эт
саженях в двухстах от Волги), где началась процедура пе
редачи и приема „счетом" арестантов. Отсчитывают 35-
40 человек и направляют в арестантский вагон, следующу
группу в другой и т. д. Справились по бумагам—одного н
хватает. Решили, что ошиблись в счете. Начинают снов
считать. Опять не хватает, уже двух. Начинают третий ра
опять одного не хватает. Товарищи рассказывали, что про
цедура счета происходила раз шесть и чем дальше, тем вс
больше и больше нервничали и путались в счете конвойные
Наконец, решили начать проверку путем персонально
„выкликания". Все это заняло не менее двух часов вре
мени. И только таким путем им удалось установить точно
что один из „политиков" действительно куда-то исчез. Н
было уже поздно ловить его....

Холодный душ и „необитаемый остров"...

В ноябре 1905 года я попал под политическую амнистию, которую вырвал у самодержавия рабочий класс в этот бурный год, и был амнистирован как от ссылки, так и по судебному делу, которое имелось в московской судебной палате (о распространении прокламаций). Однако, 11 декабря того же года я вновь был арестован в Казани, куда только что приехал из Петербурга, за выступление на заводском митинге с призывом поддержать московское вооруженное восстание.

В конце марта 1906 года я уже получил новую ссылку в Астраханскую губернию (по болезни вместо Нарыма), а в конце апреля прибыл в город Черный Яр, где и должен был отбывать положенный срок надзора.

Я уж не знаю, что производит более угнетающее впечатление—Холмогоры, Архангельской губернии, где я впервые познакомился с его болотами и тундрами, или Черный Яр, Астраханской губернии, с песками и выжженной растительностью. Скрашивали местность как там, так и тут громадные реки, на берегу которых расположены эти города: в Холмогорах—Северная Двина, в Черном Яру—Волга. И как из Холмогор естественным путем на волю для меня была Северная Двина, так и здесь таковым должна была служить Волга.

Отдохнув с неделю от этапа и тюрьмы, я купил маленькую лодку, т. н. „душегубку“, которая должна была доставить меня на ближайшую пристань, где бы я мог сесть без помех со стороны полиции на пароход. Чтобы легче было ехать, я выбрал пристань верстах в 30 ниже Черного Яра, и в одну безлунную ночь положил на свою душегубку пожитки, взял в руки весло и отправился „вниз по матушке по Волге“...

Ночь, как сказано, была безлунная. Выехав на стрежень, я с наслаждением дышал воздухом воли, ибо не сомневался в удаче побега.

По речным правилам, лодка, идущая по Волге ночью, обязана иметь на себе фонарь, иначе она всегда рискует наскочить на пароход, буксир, плот или баржу. Я это правило знал, но, конечно, меньше всего думал о том, чтобы освещать свой побег фонарем. Однако, не успел я от‘ехать две-три версты, как начали сказываться все неудобства, связанные с путешествием на такой оживленной по своему судоходству реке, как Волга, на маленькой лодке ночью без фонаря. То сверху, то снизу шли пассажирские пароходы, буксиры, сновали катера, двигались плоты, почти совершенно незаметные в ночной полутьме; громадными темными силуэтами, в темноте загадочно-страшные, проплывали баржи, которые тянул на длинном канате маленький буксирный пароходик.

В темноте, когда скрадываются все перспективы, было страшно трудно определить, идет ли какое либо из этих чудовищ мимо вас или прямо на вас. Я пробовал определять направление встречных и догоняющих меня судов по тому, каким огнем оно на меня смотрит: как известно, по бокам каждого парохода горят два фонаря—один красный, другой зеленый, и вот если на меня смотрел один из них, значит пароход идет мимо, если же видны были оба—это значило, что пароход идет прямо на меня, и я старался

как можно быстрее грести в сторону, до тех пор, пока не скрывался один из фонарей.

Но ориентироваться таким образом в направлении пароходов ночью было очень трудно, во-первых, потому, что я не мог определить хотя бы приблизительно, на каком расстоянии от меня находится данный пароход, а с другой стороны, не видя моей лодки, лоцман шел как находил для себя удобнее, и часто бывало, что я уже считал себя в безопасности от „столкновения“ с тем или иным речным гигантом, как вдруг оказывалось, что он делал совершенно неожиданный для меня поворот, почти около моей лодки, и я чувствовал, что вот-вот окажусь под колесами парохода...

После нескольких таких опытов у меня явилась было мысль убраться „от греха подальше“: со стрежня к берегу, где пароходы не ходят, и там спокойно продолжать свой путь. Неудобство этого было в том, что на Волге масса заливов, протоков и т. п. Едучи у берега и не видя из-за темноты большого горизонта, я рисковал попасть или в залив, или в проток, или даже в какой нибудь из мелких притоков. Подумав, я решил все же ехать на ура по стрежню, да и, по правде сказать, молодость есть молодость,—мне нравилось то ощущение жути, которое испытываешь, когда на тебя двигается что-то колоссально-фантастическое. Однако, это скоро кончилось весьма плачевно.

Я замечаю, что меня нагоняет буксирный пароход с целым караваном баржей, а впереди меня плывет темная громада плота. Я беру в бок, как вдруг, из за невидимого мне острова, сверкнули огни громадного пассажирского парохода, который идет вверх по течению. Как это вышло, я уже теперь не представляю, но только моя утлая лодчонка очутилась на узком водном пространстве, между пассажирским пароходом и буксиром с его баржами. Волны от „пассажира“ и от буксира столкнулись и началась вокруг моей лодки среди глубокой темноты бурная пляска „белых барашков“. Как я ни пытался „лавировать“, но лодка моя

весьма быстро наполнилась водой, вещи все поплыли, а сам я очутился в воде.

Плаваю я очень хорошо (я легко в те годы переплывал Волгу), так что на воде я удержался, несмотря на то, что волны перекатывались все время через мою голову. Одной рукой я держался за лодку, которая, хотя и наполнилась водой, но не тонула, этой же рукой я как то ухитрился уцепить весло и тужурку, ногами же и свободной другой рукой отчаянно карабкался, едва успевая отплевываться от окатывавших меня волн. В довершение ужаса, в моменты, когда я вскакивал на гребень волны и открывал глаза, я видел, как громадная черная масса баржей буксира двигается на меня. Мне казалось, что последняя баржа прошла всего в нескольких шагах от меня, хотя возможно что это была иллюзия... Как бы то ни было, я не утонул; как буксир, так и пассажирский пароход меня обошли, и довольно скоро река успокоилась, но пострадал я все-же изрядно—сам я в воде, лодка тоже, вещи мои частью утонули, частью уплыли, осталось при мне весло и тужурка, в кармане которой лежал бинокль.

С большим трудом мне удалось рукой вычерпать до половины из лодки воду, и тем поднять над водой ее борт, положить туда тужурку и весло, и вплавь, потталкивая лодку, выброситься на берег острова, около которого и произошла моя авария.

Начинало уже светать, когда я, весь мокрый и продрогший, вышел на берег, вытащил лодку, опрокинул ее и занялся выжиманием платья и выливанием воды из башмаков.

Итак, я новый Робинзон Крузо. Остров „необитаем", я один, причем у меня нет ничего—ни провизии, ни возможности зажечь огонь (спички, конечно, отсырели) и обсушиться, ни даже покурить... Промерз я страшно, пришлось, чтобы согреться, почти в течение часа плясать какой-то дикий танец дикарей...

Наконец, показывается солнце. Кажется, никогда еще в жизни своей я не радовался так красному солнышку, как в этот момент: оно должно было дать мне и тепло, и добро. Измученный и плаванием, и холодом, и дикой пляской, я разделся догола, с наслаждением растянулся под лучами солнца на песке и крепко заснул.

Проснулся, когда солнце было уже высоко, свежим и бодрым. Кругом все смеялось. Волга ласково переливалась серебром, легкая волна нежно прижималась к песчаному берегу. Одежда моя почти высохла. Все было бы хорошо, если бы я не был так голоден и не хотел курить! В кармане тужурки еще оставались остатки папирос, превратившиеся от воды в какую то массу табаку, смешанного с бумагой—его можно было посушить на солнышке и покурить, сделав сигару из листа. Ну, а вот с едой дело было уже значительно хуже: вся моя провизия погибла во время катастрофы.

Мысль начинает лихорадочно работать, ища выхода. Вспоминаются читанные в детстве романы Майн-Рида, Густава Эмара и прочие.

Как поступили бы в моем положении герои Купера или Майн-Рида? Ведь передо мной река, и весьма рыбная, значит надо как-нибудь наловить рыбы. А так как, если даже это удастся, сырую ее есть не будешь, значит надо суметь развести огонь. Конечно, дикари добывают огонь от трения двух сухих палок, но я по опыту юных лет, когда я не мало старался научиться добывать огонь „по дикарски", знаю уже, что это нашему брату—культурному человеку—не удается...

— Ба, да ведь у меня есть бинокль. Ведь если отвернуть линзу, так у меня получится великолепное зажигательное стекло!

Живо разбираю бинокль, пробую на руку—жжет. Набибираю сухой травы и моха, на свое счастье, нахожу невдалеке угли когда-то бывшего здесь костра. Складываю

все в кучку и навожу свое зажигательное стекло. Появляется дымок, угли начинают тлеть. Усиленно раздуваю, и минут через 10—15 у меня уже весело трещит костер.

Теперь вопрос о рыбе. Надо сделать удочку. Распускаю носок и из полученных ниток вью тонкую веревочку: она черного цвета и в воде не видна. Теперь крючок. Мну свою тужурку, осматриваю брюки—не найду ли где булавочки, из которой так легко сделать крючок для ловли рыбы. Но, увы, ничего нет. Наконец, мое внимание обратили на себя крючок и петля, которым застегивался ворот тужурки—как то, так и другое было сделано из куска медной проволоки. Сейчас же отпарываю их, разгибаю и получаю два кусочка проволоки. Один конец заостриваю на кремневой гальке, сгибаю, и у меня готовы два рыболовных крючка. Скоро две удочки, вполне оборудованные, уже стояли в тихой заводи острова, а через час-два я был обладателем десятка рыбешек средней величины.

Для того, чтобы их приготовить для еды, я прибегнул к такому средству: из глины сделал тесто, завернул в него очищенную рыбу и все это вместе положил в горячую золу костра, подбросив наверх для большого жару новых дров. Глина высохла, накалилась и в получившемся таким образом горшке или „духовке“ моя рыба скоро поспела... Надо ли говорить, с каким аппетитом я ел это своеобразное меню!

Солнце начало склоняться уже к закату, когда я покинул свой „необитаемый остров“, продолжая прерванный путь.

Моя поездка, хотя и с одним веслом, была уже теперь вполне благополучна. Скоро я под‘ехал к пристани, где и сел удачно на пароход, благо зашитая в тужурке пятирублевая монетка имелась налицо...

„Помни одиннадцатую заповедь"...

Бежав из Черного Яра в Астрахань, я намеревался заполучить здесь необходимые деньги, связи и явки, и отправиться дальше. Но в Астрахани я застал наличность весьма интенсивной партийной работы и большой недостаток работников. Местные товарищи усиленно уговаривали меня не ехать дальше, а, пользуясь тем, что меня здесь полиция совершенно не знает, остаться работать у них.

— Здесь работы непочатый угол, летом скопление пролетариата особенно велико, оставайтесь-ка у нас, а наша полиция пускай вас разыскивает, как бежавшего из-под надзора, по всей России. Ведь самое лучшее находиться непосредственно под недреманым оком начальства — что может быть безопаснее... это еще Щедрин знал!

Так уговаривали меня местные товарищи.

Когда я присмотрелся к условиям местной работы, я увидел, что здесь можно будет принести очень много пользы, а тот факт, что астраханская полиция будет меня разыскивать через департамент полиции по всей России, в то время, как я спокойно буду работать у ней под боком, мне казался довольно таки забавным.

Итак, я работаю в Астрахани под именем Юрия.

В то время, когда уже по всей России ясно чувствовалось наступление правительственной реакции, Астрахань

продолжала еще жить в эпоху „дней свободы“ конца 1905 г. Здесь сидел чудак губернатор, который всерьез принял возвещенные правительством „свободы“, он утверждал, без излишних волокит, профессиональные союзы и разрешал публичные митинги, для чего было предоставлено даже какое то здание за городом. Конечно, мы этим пользовались во всю для закрепления своего влияния на массы.

Так как я начал часто выступать на митингах, то полиция скоро уже хорошо знала Юрия, не подозревая, что это и есть тот самый, скрывшийся из под надзора полиции Черного Яра,— политический ссыльный, которого она усиленно разыскивала и о розысках которого вела переписку с департаментом полиции.

Так продолжалось месяца полтора-два, пока, наконец, центральное правительство не хватилось: либерал губернатор был уволен от должности, а его заместитель, получив соответствующие директивы, обрушился на нас, и в частности на профсоюзы, как организации открытые, с целым рядом репрессий.

В ответ на это наш комитет объявил всеобщую забастовку. Массы, бросив мастерския, вышли на улицу, а с ней и мы, активные партийные работники местной организации.

Дня два-три продолжалась борьба, в результате которой почти все активные работники местной эс-дековской организации были арестованы. В числе их был взят на улице и я.

В тюрьме, куда нас привели, реакция чувствовалась уже весьма ощутительно. Поддаваться ей мы были не намерены. Началась борьба, которая и вылилась в острый тюремный бунт, когда арестованные разбили все окна и двери камер. При „усмирении“ нас жестоко избивали, в частности попало изрядно и мне, тем более, что меня считали „зачинщиком“ бунта. Должен сказать, что я отнюдь не был зачинщиком, он вспыхнул стихийно, но предлогом послужил действительно факт попытки со стороны администрации

отправить меня за сопротивление приказанию начальства в карцер.

Когда выяснилось, кто я такой, то меня, избитого, губернатор распорядился выслать в самое глухое место Астраханской губ., во Внутреннюю Киргизскую Букеевскую Орду, в Ставку Рын-Пески (Ханская Ставка). Ехать туда я должен был по этапу; сначала Волгой до Черного Яра, оттуда на Владимировку, где предстояло сделать верст 120 вглубь Орды на верблюдах.

В то время по Волге ходили два специально этапных парохода с весьма символическими названиями: один назывался „Царь", а другой „Царица". Эти-то „Царь" и „Царица" и возили вверх и вниз по Волге с весны до глубокой осени арестантов. Так вот, на одном из них повезли и меня. Маршрут парохода был до Нижнего, меня должны были ссадить в Черном Яру и передать там полицейским властям для дальнейшего следования.

В Черный Яр пароход прибыл часа в 3 — 4 дня. Здесь сходить должен был я один. Двое конвойных привели меня в полицейское управление, но в этот послеобеденный час все начальство сладко почивало, а дежуривший писец принять меня не решался, предлагая обождать, пока придут „их благородия". Конвой ждать совершенно не соглашался, ибо это значило задержать из-за меня пароход. Тогда дежурный, чтобы освободить конвой, расписывается в приеме, и не зная, что со мной делать, предлагает мне „посидеть" в прихожей, пока не придет исправник или его помощник.

Конвой уходит, и во всем полицейском управлении остается нас двое—писарь, углубленный в переписку каких-то бумаг, и я в прихожей, двери которой даже не были заперты на замок.

Сижу полчаса, сижу больше, начальства нет как нет, а писарь как будто совсем и позабыл про мое существование. Слышу свистит подошедший к пристани пассажирский пароход.

— А не попытаться ли удрать на этом пароходе, не дождавшись начальства, мелькнула у меня мысль.

И безумная жажда воли и новой борьбы со всякого рода „начальством“ охватила мою душу. На тужурке, в качестве одной из пуговиц, обтянутых коленкором, у меня была пришита пятирублевка (золотой). Значит, если удастся незаметно сесть на пароход, я сумею доехать хотя бы до Царицына, а там уж видно будет.

Заглядываю бесшумно в канцелярию—писарь углубился в свои бумаги. Неслышно подхожу к выходной двери, притворяю ее, приподнимая вверх, чтобы не скрипнула. Спокойно спускаюсь по лестнице, выхожу на крыльцо. Никто меня не удерживает.

Пароход дает второй свисток.

Я медленно иду—надо было пройти обширную площадь до берега и спуститься вниз к пристаням — стараясь торопливыми движениями не обратить на себя чьего-либо внимания, хотя площадь пуста. Однако сдерживать себя было страшно трудно: чем дальше я отходил от крыльца полицейского управления, тем сильнее и сильнее мне хотелось броситься бежать... На мое счастье пароход дает третий свисток и я уже не боюсь обратить на себя внимание и бегу во весь дух к пароходу, как опоздавший пассажир. Добегаю до пристани,—трап уже убрали, по брошенной мне матросом тоненькой дощечке вбегаю на пароход, который сейчас же и отходит.

И так я на пароходе. Однако, ощущения воли в этот момент у меня совершенно не было, наоборот, мне казалось, что вот-вот я должен буду опять очутиться в руках полиции. Конечно, на это имелись все логические основания: смешно было бы, чтобы меня не хватились в тот же час—и чтобы не сообразили, каким путем я мог скрыться. Конечно, на ближайшую же пристань, Владимировку, что в 25-ти верстах выше Черного Яра, немедленно же будет дана телеграмма задержать пароход, провести тщательную

проверку всех едущих пассажиров, и ускользнуть мне едва ли у дастся.

Не веря сам в дальнейший успех своего бегства, все же пытаюсь принять кое-какие меры „законспирирования“ своего побега: заявляю помощнику капитана, что я потерял свой билет и беру у него „новый“ от одной из пристаней ниже Черного Яра до Владимировки — может быть провинциальная полиция ограничится только поверкой билетов, не требуя паспортов и я смогу проскользнуть как едущий только до Владимировки и не из Черного Яра. Ничего другого, лучшего, придумать мне не удалось.

Этот час, в течение которого пароход шел до Владимировки, казался мне целой вечностью. Наконец—пристань. Пароход спокойно причаливает, полиция в обычном составе, тревоги не заметно. Выскакиваю на пристань и давай бог ноги!

Пароход скоро отошел, но оставаться во Владимировке я считал для себя крайне опасным. Верстах в 60 от Владимировки вглубь степи находятся соляные промыслы (если не ошибаюсь озеро Баскунчак), куда ходит узко-колейка. Я отправился туда,—безопаснее. Я не сомневался, что если меня проворонили во Владимировке, то все равно будут усиленные поиски по всему пути до Царицына. Добравшись до промыслов, я бродил там дня два, ночуя в степи, наконец, вернулся во Владимировку, сел ночью на пароход и добрался до Царицына.

Страшно изнервничавшись, не столько, пожалуй, самыми перипетиями побега, сколько всем пережитым вообще за этот месяц—тюремным бунтом, избиением и проч.,—ночью я вышел с парохода на улицу Царицына. Куда идти? Ни явок, ни связей, ни паспорта. В пустынных улицах мне все казались полицейские засады или патрули. Направляюсь на бульвар, навстречу мне доносятся веселые голоса большой компании молодежи.

Была не была!—если это группа учащейся или рабочей молодежи, остановлю их, расскажу, что я бежавший политический и попрошу ночевку и дальнейшего содействия.

Настроение молодежи того времени было в общем таково, что значительно больше шансов было за-то, что во мне примут участие. Подхожу и вдруг вижу в числе этой компании одну девицу, Симу Раскину, которая приезжала летом от царицынской организации к нам в Астрахань за шрифтом и с которой я там встречался.

— Юрий, это вы! Что это значит? Откуда?—удивилась она.

— Я бежал только-что из тюрьмы и теперь не имею ни паспорта, ни ночевки...

— Т-сс,—схватив меня за руку, шепнула она и сейчас же оттащила в сторону.

— Что с вами! Разве можно так кричать об этом на весь бульвар, тем более, что вы не знаете, с кем я...

Оказывается, мои нервы были так взвинчены, что я, не отдавая себе отчета, заорал во все горло о своем побеге, растеряв все соображения конспирации... Мне стало стыдно, когда я опомнился, но дело было уже сделано.

— Господа,—обратилась она к компании, я должна буду пойти с этим человеком, я приду через полчаса.

— Я могла бы вас оставить ночевать у нас в доме, но так как вы, вероятно, заинтриговали собой моих компанионов, считаю это неудобным. Пойдемте, я сведу вас к своей подруге.

Через полчаса я сидел уже в тесном кругу партийных товарищей, и за стаканом чая, окончательно приведя в порядок свои нервы, выслушивал добродушные шуточки на тему, что „и на старуху бывает проруха“—намек на то, что я, старый подпольщик и опытный конспиратор, сделал на бульваре такой недопустимый конспиративный ляпсус“...

Дня через два-три я, отдохнувший нервно, бритый и подстриженный, изменив таким образом свою внешность, начал выходить на улицу и принимать участие в работе местной партийной организации. „Компаньоны“, любопытства которых так забоялась было Сима, оказались народ достаточно деликатный и никто ни одного вопроса ей обо мне не задал. Вскоре этот инцидент был позабыт,

Недели через полторы нами были получены сведения от политических ссыльных Черного Яра, что меня кто-то из черноярцев-обывателей видел в Царицыне, и что теперь и полиция и черноярские обыватели снаряжают целые паломничества в Царицын, чтобы меня изловить, ибо за поимку меня местным исправником назначена денежная награда.

Они же сообщили и все подробности того, что произошло после моего побега в Черном Яру. „Их благородие“ явилось в тот день в управление поздненько и когда было доложено о моем прибытии, а меня в прихожей не оказалось, то мудрые полицейские Уллисы и Холмсы решили, что я пошел пить чай к кому-либо из политических ссыльных. И вот в течение всего вечера полицейские ходили по квартирам ссыльных и разыскивали, где я пью чай. Уже поздно вечером, когда меня нигде не оказалось, они начали беспокоиться и допустили, что я мог бежать. О пароходе они совсем позабыли, а решили, что я, очевидно, или ушел по берегу или взял одну из обывательских лодок, лежащих на берегу, и переправился на ту сторону Волги. И вот началась процедура подсчета лодок на берегу, с привлечением к сему делу владельцев...

На другой день после моего побега, мои друзья в Астрахани были у губернатора с ходатайством об оставлении меня по болезни в Черном Яру, так как климат Ханской Ставки вреден для моих слабых легких, да и врачебной помощи там нет. Губернатор принял их весьма сухо и категорически отказал.

— Нет, уж извините, это значит дать ему возможность опять убежать, он и так только этим и занимается. Пойдет в Ханскую Ставку под особо усиленный надзор.

Очевидно, после этого разговора губернатору пришла мысль дать обо мне соответствующие директивы и мою характеристику в Черный Яр, где я мог „заболеть", лечь в больницу, а оттуда бежать. И вот на другой день после моего побега исправник получает от губернатора телеграмму, где предлагается иметь за мною особо бдительный надзор, ибо я „склонен к побегам"...

Надо ли говорить, какое впечатление произвела на исправника эта телеграмма! Исправник, боясь известить губернатора, что его предупреждение опоздало и я уже бежал, из своих личных средств предложил денежную награду тому, кто меня найдет или укажет мое местопребывание. На четвертый день исправнику все же пришлось донести губернатору о случившемся...

Уже значительно позже, зимой, когда я был в Киеве, товарищи из Астрахани прислали мне номер официальных „Губернских Ведомостей", с приказом губернатора, в котором говорилось, что черноярский исправник, его помощник и полицейский надзиратель увольняются со службы за халатное отношение к своим обязанностям, которое выразилось в том, что они дали возможность скрыться „важному государственному преступнику Залежскому".

Этот приказ создал мне великую популярность среди чинов полиции всей Астраханской губ. и когда я, год спустя, снова попал в Астраханскую тюрьму, местный полицмейстер не удержался от соблазна „посмотреть" на меня. Помню гуляем мы по тюремному двору, вдруг является полицмейстер, браво бросает уголовным — „здорово, „арестанты", на что те дружно отвечают — „здравия желаем вашему высокоблагородию" и проходит в корпус. Скоро нас пересыльных почему-то просят в камеры. Заходим.

Через некоторое время отворяется дверь и в сопровождении кучи начальства входит исправник.

— Вот этот самый ваше высокоблагородие,—почтительно докладывает исправнику старший надзиратель.

Исправник молча смотрит на меня, я также молча, не мигая, смотрю на него. Так постояли мы несколько мгновений друг против друга.

— Хорош, нечего сказать!—бросает исправник, обращаясь к начальнику тюрьмы,—из-за него семейные люди уволены были.

Я молча пожимаю плечами.

Проходит еще дня два и к нам в камеру является „сам“ губернатор. Разговаривает, спрашивает нет ли жалоб и как бы между прочим бросает,—а который из вас Залежский?

Я рекомендуюсь. Внимательный взгляд—и губернатор величественно удаляется, не сказав ни слова, но я уже знал, чем был возбужден такой интерес к моей особе...

Вглубь пустыни и обратно

Весной 1907 года, работая в Киеве уже довольно давно для нелегального работника и чувствуя за собою слежку, я надумал снова переброситься в родное Поволжье, в Саратов или Самару. Я отправился в знакомый мне Царицын, где думал получить туда явки.

В Царицын я приехал накануне первого мая. Местная организация сильно ослабела и арестами и надвинувшейся уже внутренней реакцией — один за другим работники начали отходить от партийной работы...

Кое-кого из старых товарищей я все же там застал; мне страшно обрадовались и усиленно просили, если уж мне неудобно работать в Царицыне, остаться хотя-бы на первое мая и провести как предварительную массовку, которая собиралась в этот день вечером, так и первомайскую. Я согласился,

Предварительное собрание происходило вечером накануне первого мая в одной из балок (оврагов) за городом. Докладчиком выступал я и еще один проезжий товарищ (фамилию не помню) донской казак, бежавший, кажется, с каторги. Массовка прошла успешно. После ее окончания вопрос встал о нашей ночевке. Нужно сказать, что я, зная, что перед первым маем полиция всегда производит обыски

и аресты, предупредил организацию, что если у них нет совершенно чистой квартиры для моей ночевки, где можно было бы не рисковать попасть под обыск, то я предпочитаю ночевать просто на „вольном воздухе“ в степи, чем идти на сомнительную квартиру. Меня уверили, что квартиру мне дадут безукоризненно чистую. Организатор собрания подводит меня к какой-то девице, у которой я и должен буду ночевать вместе с казаком.

В город мы отправились компанией в пять человек— хозяйка ночевки, ее две подруги и я с казаком. Мы весело болтали и чувствовали себя совершенно спокойно. Но когда начали подходить к тому району, в котором жила ведшая нас к себе девица, мое внимание, уже старого конспиратора, обратил на себя тот факт, что на углах не было ни постовых городовых, ни сторожей. Я высказал подозрение, что они взяты на обыски или в засаду в этом районе. Девицы начали смеяться над моей „чрезмерной осторожностью“, прозрачно намекая, что я трушу. Они говорили, что отсутствие городовых и сторожей по ночам в Царицыне дело обычное. Я имел глупость поддаться на их насмешки и усыпить свою бдительность.

Однако, когда мы подошли к дому, инстинктивная тревога вновь охватила меня. Я предложил всей компании перейти на тротуар другой стороны, а хозяйке пойти домой одной, посмотреть, и если там благополучно, выйти к нам навстречу. Публика пришла совсем уже в веселое настроение... Подходим к воротам дома—у ворот никого. Квартира, где мы должны были ночевать лежала в самом углу большого двора, освещенного луной. Мы вошли во двор, подходим к заднему строению, вдруг... в тени крыльца я вижу темные силуэты...

— Засада,—остро мелькнула у меня мысль, и, не меняя шага, я делаю полуоборот вправо к забору и спокойно иду.

— Стой, стрелять будем,—раздаются крики и из темноты выскакивают городовые, с вынутыми наганами. Пришлось остановиться.

— Пожалуйте, пожалуйте,—любезно пригласил нас руководивший отрядом полиции околоточный,—господин пристав давно вас ожидает.

Делать нечего, пришлось нам зайти в квартиру. У казака паспорта не оказалось, у меня же была фальшивка на имя Ивана Степановича Крюкова, мещанина города Рузы, Московской губернии, которую я написал сам. Так как здесь я не был прописан и назвался только что приехавшим, то меня задержали вместе с казаком „до выяснения личности“, как мне об'яснил пристав.

Как выяснилось впоследствии, этот наш провал был делом самой нелепейшей случайности: с обыском приходили не в ту квартиру, куда мы шли ночевать (в нижнем этаже), а в одну из верхних. Там и сидел тот пристав, который, по заявлению околоточного, „нас уже давно поджидал“. Таким образом, ждали то вовсе не нас, а мы сами сунулись к ним в лапы вслепую...

Как бы то ни было, но пришлось мне сесть в участок. Проходит день, другой. Я сижу в камере вместе с уголовными, без всяких вещей и без постельного белья, окно выбито, холод, нары кишат клопами, как и полагается во всяком полицейском участке. Спать приходилось на голых досках, под голову клал ботинки, завернутые в верхнюю рубаху, укрывался пиджаком... Грешный человек, эксплоатировал я своих „ближних“ — сидевшую со мной уголовную шпану: часов в десять-одиннадцать они все уже ложились спать вповалку на нарах и как то ухитрялись спокойно храпеть, несмотря на миллиарды клопов; и вот я заметил, что, если я ложился часа два-три спустя после того, как уснули уголовные, то меня кусали меньше, ибо главные полчища клопов успевали к тому времени сконцентрировать свои силы вокруг уголовщины...

Так как я разыгрывал из себя самого обыкновенного обывателя, задержанного по недоразумению, то чуть ли не с первого дня ареста я начал, что называется, „скулить"— жаловался надзирателям, что меня несправедливо держат, делал заявления дежурному околоточному, писал „прошения" и приставу и полицмейстеру, в которых наивничал во всю, ссылаясь на „закон", по которому нельзя держать человека под арестом „безвинно". Никакого толку из этого, конечно, не выходило, но если бы я этого не делал, полиция могла бы быстро смекнуть, что я „из бывалых". Старшего полицейского надзирателя участка я совсем убедил в своей благонадежности.

— Ничего, Крюков, бог даст, выпустят, человек-то ты видать хороший, не робей, мы еще с тобой, когда тебя освободят, пару пива выпьем.

Дней через десять меня вызывают в полицейское управление, где какой то полицейский чин и начальник местного сыскного отделения предлагает мне сэнакомиться с только что полученной бумагой. Это было отношение— справка из Рузы, в которой мещанский староста сообщает, что „в числе мещан города Рузы Крюков не числится, а паспорт за номером моей фальшивки выдан девице Пелагее Никоноровой"...

— Ну-с,—говорит пристав,—кто же вы есть на самом деле? Хотите быть бродягой или откроетесь?

— Постойте, постойте,—перебивает начальник сыскного отделения, внимательно вглядываясь в меня,—да я вас где-то видел. Э-э, да вы в прошлом году, кажется, ехали через Царицын под надзор в Астрахань, только вот фамилию не помню!

Я позавидовал способности сыщика запомнить однажды виденное год тому назад лицо, но мне стало ясно, что скрываться нечего—только время понапрасну протянешь —и я назвал себя.

Через несколько дней, на извещение царицынского полицейского управления в Астрахань о моем задержании, от

губернатора Астрахани была получена телеграмма, требующая меня в Астрахань. Дня через 3—4 я был уже там.

Здесь то и происходило то „смотрение“ меня, о котором я рассказывал, говоря о предыдущем побеге.

С легкой руки администрации, скоро вся тюрьма знала, что я „спец по побегам“, если говорить современным советским языком. Когда я получил извещение, что направляюсь в Ханскую Ставку, я заметил, что один из политиков, молодой здоровый парень, анархист, который считался, как и я, „обратником“ из Ханской Ставки (т.-е. бежавший уже раз и возвращаемый обратно), всячески старается со мной сблизиться. Никаких симпатий к анархистам я никогда не чувствовал—скорее наооборот у меня к ним было какое-то инстинктивно брезгливое отношение, но этот парнишка производил тогда довольно хорошее впечатление — видимо, это был анархист идейный. Этот анархист не сомневался, что я убегу тотчас же по приходе в Ханскую Ставку (сказано „спец“!) и вот он хотел, чтобы я взял его с собой.

— Знаете что, как только придем—бежим вместе. Деньги у меня есть, я поделюсь с вами, а оставаться там я не хочу и дня.

Я отмалчивался, с одной стороны, не желая перед незнакомым мальчиком открывать свои планы, а с другой—принимать от анархиста денежную помощь, оказывая ему в свою очередь одолжение.

Опять не то „Царь“ не то „Царица“ повез меня до Черного Яра, как и в прошлом году, но уже следили за мной и на пароходе значительно „серьезнее“. В моем проходном листе значилось—„в наручнях (ручные кандалы), склонен к побегам, строгий надзор“. В Черном Яру под усиленным конвоем меня и анархиста доставляют в полицейское управление. Здесь новый исправник смотрит на меня с боязливым любопытством и сейчас же приказывает замуровать меня в одиночку, приставив к ней специального надзира-

теля, который то и дело совал свой нос в „очко“ (дверное отверстие).

Дня через два уже сколотили экстренный этап в Ханскую Ставку, в состав которого вошло нас двое, два киргиза и киргизка. Думаю, что спешили отправить нас из „мистического“ чувства страха перед возможностью с моей стороны какого либо особо мудреного побега — „подальше от греха“ и ответственности...

На пароходе мы добрались до Владимировки, а оттуда на верблюдах пошли в Ханскую Ставку. Скоро мы вступили в знойную песчаную пустыню с совершенно выжженной растительностью. Жара, духота, легкий ветер несет целые тучи мельчайшего песку, который набивается и в рот, и в нос, и в глаза, и в раскрытые от жары поры потного тела, производя сильный зуд кожи. Так мы шли два дня. Ночевали в какой-то киргизской кибитке, стоящей „на тракту“. Когда мы остановились на ночлег, старший конвойный, боясь моей злой воли к побегам, не удовольствовался тем, что поставил сторожить нас двух часовых: ложась спать, он взял наручни и сковал свою ногу с моей: теперь уж, брат, не убежищь, заметил он...

Наконец, мы приближаемся к Ханской Ставке. Желтые зыбучие пески, жалкая растительность, вид самый безотрадный... Пришли мы под вечер, дежурный надзиратель полицейского управления принял нас весьма любезно, предложил для оформления нашего прибытия зайти на утро, а кстати получить вперед полагающееся нам пособие в размере 6 руб. 40 коп., и отрядил специального полицейского, который и приводил нас в колонию политических, которых там было человек 14.

В этот вечер мы так были усталы, что даже мой анархист не поднимал вопроса о побеге; он только просил меня пойти в полицейское управление на утро пораньше; товарищи были крайне рады нашему прибытию, здесь „новичков“ уже давно не было. Немного отдохнув, мы пошли

в дом-коммуну, где до поздней ночи продолжалась живая товарищеская беседа. Среди песков и киргизского населения маленькая кучка заброшенных сюда политиков естественно держалась сплоченно, тем более, что персональный подбор ссыльных здесь был очень удачный — это все были люди, которых администрация считала „вредным“ держать где-либо по близости от возможных путей побега.

В течение дня нас дважды приглашал явиться в полицейское управление местный полицмейстер. Мой анархист почему-то не обнаруживал особенной готовности последовать этому приглашению и получить причитающееся казенное пособие (6 руб. 40 коп.). Он заявил посланному полицейскому, что чувствует себя нездоровым и, что придет попозже. Вместе с тем, он обнаружил большой интерес к тому, каков человек местный полицмейстер и т. п. С другой стороны, он усиленно предлагал мне бежать сегодня же ночью.

О местном полицмейстере стоит сказать несколько слов. Он был когда то столичным приставом и чуть ли не по подозрению в либерализме еще в начале 90-х годов был „сослан“ в это захолустье, где и сидел уже много лет. Это был хороший и добрый старикашка, относившийся к политике весьма хорошо. Рассказывали, что он на свой счет покупал ежедневно по четверти кумыса для двух поляков-ссыльных, у которых был острый туберкулез. Уже одно это характеризует его достаточно хорошо, но ссыльные рассказывали еще ряд фактов, говорящих за то, что он относится к политикам с большой симпатией.

К вечеру мы с анархистом отправились, наконец, в полицию. Когда мы туда пришли, надзиратель послал мальчика за полицмейстером, говоря, что тот просил известить его, когда мы придем, ибо он хочет повидаться с Петровым (назовем так моего анархиста, точно фамилию не помню), с которым он до его побега отсюда „приятельствовал“.

Скоро в полицейское управление торопливо входит улыбающийся старичок полицмейстер в приятном ожидании

встречи с Петровым. Увидя нас, он останавливается в недоумении и спрашивает:

— А где-же Петров?

— Это я,—отвечает мой спутник.

В глазах старика радость сменяется сначала удивлением, а затем на лице видна растерянность.

— Как,—зашамкал старик,—вы—Петров? Ничего не понимаю! Петров, да не тот! Тот был маленький, черненький, со шрамом на лице...

А перед ним стоял ражий, белокурый парень...

Для меня стало тут ясно, что мой спутник пришел сюда по документам Петрова, поменявшись именем с подлинным Петровым. Так как зря такие вещи не делаются, то я понял, что ему надо действительно бежать.

Я решил плюнуть на отдых и через час после нашего возвращения из полицейского управления мы с ним уже брели по сыпучим пескам пустыни, стараясь не терять из виду телеграфные столбы, идущие из Ханской Ставки на Владимировку. Из боязни погони по тракту, мы шли по пескам на приличном расстоянии от него, зорко следя за горизонтом—не покажутся ли посланные нам в догонку киргизские раз'езды..

Итти было страшно трудно, ноги увязали в песке; несмотря на то, что солнце начало клониться к закату, жара была страшная. В довершение неудобств подул довольно сильный ветер, поднимая целые тучи мельчайшего песку, в котором мы положительно задыхались. Мой спутник, довольно полный и здоровый парень, сильно страдал от жары и от жажды. Взятую с собою бутылку воды он скоро выпил и тем не менее страшно мучился от жажды. Я, человек более бывалый во всякого рода передрягах, оказался значительно крепче его, но и мне было трудно.

Когда настала ночь и взошла луна, мы, измученные лазанием по зыбучим пескам, решили рискнуть и выйти на тракт, рассчитывая, что в случае погони мы скорее услы-

шим ее лошадиный топот, чем она нас увидит в ночном полумраке, и мы сумеем сбежать в сторону и залечь в песках. По тракту было идти уже значительно легче, да и ночная прохлада как-то восстановила наши силы.

Так шли мы всю ночь, сделав верст 60. К утру мы миновали песчаную часть пустыни и вступили в полосу солончаковой степи. Скоро мы встретили крестьянский хутор, к хозяину которого у нас была записка от одного из ссыльных, с которым тот был знаком по своим наездам в Ханскую Ставку. Крестьянин отнесся к нам сочувственно и рублей за 20 согласился доставить нас до Владимировки.

Не повезло

После благополучного побега из Ханской Ставки, я уехал в Екатеринослав. Прибыл я туда уже в эпоху глухой реакции, как правительственной, так и внутренней в среде рабочего класса и вообще революционных слоев. Последнее было, конечно, всего хуже.

Этот раз мне сильно не повезло, и эта полоса „невезения“ тянулась около трех лет... Начать с того, что, прибыв в Екатеринослав в начале июля, 2-го сентября я уже был арестован на собрании, в числе нескольких десятков, тогда задержанных. Пытался я проскользнуть по документу одного из участников собрания из числа тех, которых выпускали не арестовывая, но не удалось.

При аресте я пред‘явил фальшивку на имя Петра Тимофеевича Головкова и под таким имением был направлен в 5-й полицейский участок Екатеринослава. Здесь я сидел в камере вместе с уголовными и, как уже старый и бывалый арестант, хорошо знающий тюремные порядки и обычаи и даже уголовный жаргон, скоро завоевал себе среди сидевших со мной уголовных уважение и даже авторитет.

Со мной в камере сидел один из „стопников“ — особая разновидность уголовных, появившаяся после 1905 года. Так назывались среди уголовных люди, которые останавли-

вали с револьверами в руках прохожих криком: „стоп, руки вверх“ и обирали их. Эга категория уголовных считалась, как правительством, так и самими уголовными, весьма серьезной, ибо обычно им грозил военный суд и смертная казнь. Естественно, что этот элемент, попадая в участок или в тюрьму, прежде всего, думал о том, как бы отсюда удрать. Задумывался об этом и наш „стопник“, а так как в камере из всех арестованных он одного меня считал достаточно серьезным, то со мной он и поделился своим намерением, предложив войти с ним в компанию.

Я охотно согласился, тем более, что сидел по фальшивке и мое настоящее имя было не установлено. Последнее имело большое значение в том смысле, что за побег со взломом помещения бегущим грозила каторга, и если бы меня уже знали, то, не имея за собой большого дела, которое оправдало бы будущую каторгу за побег, рисковать мне не имело бы никакого смысла.

Обдумывая со „стопником“ различные планы побега, мы остановились на следующем. Рядом с нашей камерой была женская, одна из стен которой выходила в узкий проулочек полицейского двора между зданием каталажки и деревянным забором, отделяющим полицейский двор от какого-то пустыря. В женской камере сидела сожительница этого стопника. Нары нашей и женской камеры были прислонены к одной стене, представляющей собою деревянную оштукатуренную перегородку (а не капитальную стену).

Для того, чтобы „отвести глаза“ шпане, сидящей в нашей камере, от замышляемого нами побега и тем обезопасить себя от предательства, мой „стопник“ заявил, что намерен прорезать под нарами отверстие в женскую камеру к своей жене, с которой хочет „хорошенько выспаться“ пока его не отведут в тюрьму. Это всем показалось очень правдоподобным и все сочувствовали ему в его намерении.

В один из вечеров он принялся за работу. Вся камера в это время начала петь песни, ходить, вообще произво-

дить шум, а он в это время залез под нары, быстро оторвал штукатурку и выломал в досчатой переборке достаточно широкое отверстие, чтобы можно было пролезть человеку. Предупрежденная жена его, конечно, молчала. Так как отверстие было под нарами и с той и с другой стороны (то-есть и в нашей камере и в камере женщин), то его было совершенно не видно, когда надзиратель входил в камеру, а при проверке осматривали только целость оконных решеток.

Должен сказать, что еще до того я через жену одного из сидевших со мной политиков получил в передаче несколько маленьких флаконов с уксусной эссенцией. Она была необходима, чтобы удобнее разобрать стену: уксусная эссенция сильно раз'едает цемент, которым скрепляют кирпичи при кладке стены, если ею намазать лежащий между кирпичами цемент, то он легко крошится и выковыривается простым пальцем, да и сам кирпич делается слабым и рассыпчатым.

На другой день вечером мы со „стопником“ должны были пролезть в женскую камеру, сделать там при помощи уксусной эссенции отверстие в наружной стене, вылезти через него в упомянутый выше проулочек, перескочить через забор и удрать. Когда настало время, „стопник“ полез первый. Он мне сказал, что он поговорит сначала с женой, а потом, приготовив все, даст мне знак, когда надо лезть.

Его „разговор“ с женой и погубил все дело. Одна из жен полицейских, проходя мимо нашего корпуса, вздумала „жалеючи“ заглянуть в окно женской камеры, как де спит „бедненькая арестованная“. Смотрит, а в камере вместо одной на нарах сидят две фигуры, из которых одна мужская. Баба, конечно, подняла крик, началась тревога, мой „стопник“ едва успел влезть обратно в нашу камеру, как уже явилась администрация с обыском... Конечно, пролом обнаружился, и о побеге думать уже не пришлось—нас

сейчас же перевели в другую камеру и скоро отправили в тюрьму.

Позднее я узнал, что этот „стопник“ был судим военным судом и повешен. Должен сказать, что подобное легкомыслие я неоднократно замечал у самых серьезных уголовных и раньше, и потом. Часто проваливался идеально подготовленный план побега, из-за какого-нибудь до нелепости легкомысленного шага участников...

Мне продолжало не везти. В тюрьме я продолжал сидеть под именем Головкова, не открываясь. Жандармы, установив, что я сижу по фальшивому имени, не спрашивая у меня, кто я, начали сверять мои карточки с карточками разыскиваемых лиц. Оказалось, что я очень похож на некоего Спиридона Бирюкова, матроса, осужденного к смертной казни за убийство офицера и бежавшего из екатеринодарской тюрьмы. Жандармы решили, что я и есть этот Бирюков и вскоре я был отправлен в Екатеринодар, как Бирюков, закованный по рукам и ногам в кандалы, для повешения.

Я делал судорожные усилия, чтобы доказать „властям предержащим“, что я не Бирюков, но это мне довольно плохо удавалось, хотя, видимо, у екатеринодарских властей на этот счет и возникли все же кое-какие сомнения. Вешать меня они не торопились, но зато начали усиленно гонять меня „на уличку“ и на „удостоверение личности“ сначала по Кубани, а потом и по России. Так продолжалось около двух лет. За это время я был в Армавире, на станции Кавказской, опять в Екатеринодаре; затем пошел через ряд тюрем в Казань, где, наконец, и удостоверили мою самоличность, откуда опять в Екатеринодар и, наконец, из Екатеринодара сначала в Царицын, а потом через Саратов в Астрахань, оттуда в конце зимы 1908 года я, наконец, был выслан заканчивать старый срок ссылки в Енотаевск.

За это двухлетнее сидение и скитание по тюрьмам и этапам, вся воля моя и все мысли были направлены на

то, чтобы удрать. Я бы пошел тогда на максимальный риск, если бы видел, что есть хоть ничтожный шанс на удачу. Но, увы, счастливый случай, на который только и можно было расчитывать, упорно не подвертывался именно теперь, когда он особенно был необходим...

В Енотаевск я пришел совершенно больной, измученный всем пережитым. Однако, первой мыслью, которая у меня появилась, когда меня, наконец, выпустили под надзор полиции, была опять-таки мысль о побеге на партийную работу.

Но куда ехать? За эти два с половиною года развал партийных организаций был колоссальный, это была эпоха глубочайшей реакции. На поверхности жизни царило ликвидаторство. Связи с подпольем я все растерял. Ни денег, ни паспорта у меня не было... Но я все же не представлял себе ту глубину развала, которым были охвачены когда-то стройные ряды борцов революции.

Немного отдохнув, я решил с'ездить нелегально в Астрахань, где, как я узнал, жил один из моих старых партийных товарищей Роман (Ахвацетуров). Он сейчас был известен в Астрахани как либеральный помощник присяжного поверенного. Я не сомневался, что он имеет связи с партией и поможет мне, как явкой, так и деньгами и паспортом.

В один из вечеров я нанял лошадь до ближайшей железнодорожной станции (кажется, верст 25 от Енотаевска) и благополучно прибыл в Астрахань. Подхожу к квартире Ахвацетурова. Шикарный под'езд, внушительная медная досчечка на двери с именем и званием хозяина. Звоню. Был приемный час и я был впущен в приемную в качестве одного из клиентов. Через некоторое время горничная приглашает меня в кабинет. Вхожу. Навстречу мне поднимается с кресла толстенький упитанный господин с уверенными и солидными движениями, в котором я с трудом узнаю Романа. Он меня не узнал.

— Чем могу служить?—спрашивает он.

— Вы меня, Роман, не узнаете, я—Юрий.

В глазах Ахвацетурова мелькнуло сначала изумление, а потом испуг.

— А, это вы Юрий. Откуда? Очень рад вас видеть...

Я в самых кратких чертах рассказал о себе и сразу же перешел к делу. Он единственный, к кому я сейчас могу обратиться, мне нужно достать партийную явку, а также паспорт и деньги на побег.

Из его ответов мне стало ясно, что к партии он никакого отношения уже не имеет и единственно, что он по старой памяти может для меня сделать, это дать мне десяток-другой рублей. Видя все это, я поспешил раскланяться и решил вернуться обратно в Енотаевск, ища возможность уехать на партийную работу уже самостоятельно. И здесь не повезло!

Но в течение остатка зимы и всей весны, я не мог ничего добиться. Особенно трудно было достать явки, ибо организаций на местах осталось очень мало, они были слабы и замкнуты. Наконец, летом я получил партийную явку в Москву. К этому времени нам удалось наладить в Астрахани для всей астраханской ссылки бюро побегов, во главе которого стоял бывший ссыльный, популярный в Астрахани врач Лурье (кажется, из Житомира). Собралось бежать нас четыре человека — двое рабочих, я и одна женщина работница. Паспорта и деньги мы должны были получить у Лурье.

Чтобы не тратить денег на пароход, а их у нас было очень мало, мы решили доехать до Астрахани на лодке. Расстояние, если не ошибаюсь, здесь верст 240 вниз по течению. Путешествие наше продолжалось дня 3—4 и прошло без всяких приключений, мы благополучно под‘ехали к Астрахани, пристали и направились к квартире Лурье.

Однако, полоса неудач и „невезения“ для меня еще не кончилась. Когда мы вчетвером подходили к квартире

Лурье, мимо случайно проезжал на извозчике начальник местного сыскного отделения. Опытный взгляд сыщика обратил внимание на нашу группу и заинтересовался ею. Наблюдая за нами, он заметил, что мы остановились у под‘езда квартиры „уважаемого доктора“, причем один из нас передал девице письмо, с которым та и вошла в квартиру, а мы втроем пошли прочь.

Охранник решил, что мы вымогатели. Но так как он был один, а нас группа, то сразу задержать он нас не мог. Однако, он решил на всякий случай приглядеться к нашим физиономиям.

Занятые разговором между собой у под‘езда Лурье и наказом девице, что передать Лурье, мы совсем не обращали внимания на окружающее. Вдруг к нам под‘езжает извозчик, с него соскакивает какой-то прилично одетый господин, подходит к нам и спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, здесь, кажется, сдается квартира?

Вскинув на него глаза я раздраженно бросил:

— Прочитайте на карточке, если вам это так интересно.

Этому „явлению“ мы тогда не придали совершенно никакого значения, спокойно повернулись и пошли к базару с целью позавтракать и дождаться прихода в условленное место ушедшей к Лурье девицы.

Не успели мы, однако, дойти до базара, как сзади совершенно неожиданно на нас набросились городовые, схватив за руки. Оказывается, сыщик уже успел мобилизовать полицию для нашей ловли.

Конечно, побег наш опять провалился, мы были арестованы и вместо воли очутились в тюрьме. Девице удалось скрыться.

Просидев месяца три, в течение которых местные жандармы, соскучившиеся от безделья, ибо никакой организации в Астрахани не было, усиленно старались создать нам какое то дело, мы были вновь высланы в Енотаевск.

В „корыте“ на волю

С весны 1910 года мне вновь удалось возобновить потерянные за время скитания по тюрьмам партийные связи, вновь войти в активную работу. На этот раз судьба мне улыбнулась; до начала 1913 года я работал беспрерывно, счастливо избегая провалов. Но и счастью бывает конец. Зимой 1913 года я был арестован на улице в Екатеринославе и после нескольких месяцев тюрьмы выслан на 4 года в Нарымский край.

„Нарым“ слово остяцкое и означает болото. Уже одно это может дать представление о том, что из себя этот край представляет. Пространство его 167 тысяч квадратных верст, почти сплошь покрыто болотами и лесами, климат холодный, сырой, жителей всего 0,1 на квадратную версту. Ничтожное количество из них русских—челдонов, 5—6 деревень которых расположены по течению реки Оби, остальные—остяки и лесные кочевники тунгусы.

Я был назначен первоначально в южную часть Нарыма, в деревню Колпашево, где климат значительно здоровее, но вскоре за разного рода „художества“, вроде чтения рефератов, ведение кружков, а также „споров“ с полицией, я был переведен в самый Нарым под непосредственный надзор пристава, а через пару недель от губернатора

получается „бумага“ с предписанием арестовать меня в административном порядке на три месяца.

Так как я уже почти все подготовил к побегу, то, конечно, известие об этой „бумаге“ заставило меня только ускорить побег.

Денег у меня было всего 35 рублей. С ними я должен был добраться из Нарыма до Петербурга. Едва-едва этих денег могло хватить на билеты, да и то если проехать Нарымский край как-нибудь „фуксом“. Была кое-какая надежда, если удастся добраться до Усть-Катавского завода (средний Урал), застать там товарища Правдина, который в то время здесь работал, и перехватить у него денег на дальнейший путь. Но полной уверенности в этом не было. Приходилось расчитывать на те деньги, что есть налицо.

Паспорт на имя Макара Степановича Кужелева был у меня на руках, явки в партийную организацию — тоже, оставалось только удирать.

В видах экономии денег я решил пройти Нарымский край пешком. Идти надо было верст 200—250 тайгой и берегом реки. Но из Нарыма сухого пути не было. Он начинался от деревушки под названием Парабелль, лежащей верстах в 30 по Оби вверх от Нарыма. Товарищи, которые подготовляли мой побег, дали мне такой маршрут: до Парабелли я должен буду подняться вверх по Оби на лодке, там зайти к одному из ссыльных, который и выведет меня на дорогу, ведущую до одной из остяцких юрт, где тоже есть политики. А там уж дорога прямая на Тогур и Калпашево—два больших русских села. С помощью ссыльных этих деревень можно было расчитывать пробраться и дальше.

Первоначально я так и намеревался сделать. Приготовил себе мешок, куда положил смену белья и провизию — сухари, копченую рыбу, московскую колбасу, которая, как известно, не портится от жары, и прочее. Как я не старался брать поменьше, но все же мешок получился достаточно тяжелый, шагать с которым сотни верст по жаре

среди мириадов комаров и мошек,—„гнуса“, так обычного в болотах Нарымского края,—мне мало улыбалось....

Первый перегон свой я, как уже сказал, должен был сделать на лодке. У меня был собственный „облосок“ (долбленая из цельного дерева душегубка, весьма легкая, на которых ездят нарымские аборигены), крайне маленький, который товарищи в шутку прозвали корытом. И действительно, иное корыто было больше и устойчивее на воде моего облоска. Когда я в него садился, его борта поднимались над водой всего на два вершка, сидеть надо было держа туловище совершенно неподвижно, ибо малейшее изменение центра тяжести сидящего тела сейчас же заставляло мое корыто перевертываться. Но при всех этих недостатках у него было незаменимое достоинство — он был крайне легкий и ходкий; на нем можно было довольно быстро подвигаться вверх по Оби, несмотря на ее бешеное течение, достигающее 6 верст в час (Волга течет около 1½ верст в час).

Когда я приобрел свой облосок, мне стоило довольно большого труда научиться ездить на нем. Сколько раз обучаясь, я перевертывался и принимал ванны. Однако в конце концов мне удалось одолеть это мудрое искусство езды в моем корыте, и я уже неоднократно предпринимал на нем довольно продолжительные путешествия по Оби.

На этом-то „корыте“ я и решил сделать путь до Парабелля. Ехать я буду, конечно, около берега, единственный риск, которому я буду подвергаться это—переезд через Обь, который придется применить в пути раза два-три для того, чтобы ехать по тому берегу Оби, где течение наиболее тихое, то-есть, по луговому. Этот луговой берег Оби очень часто меняется — им бывает то правый берег ее, то левый, в зависимости от того, какой поворот делает река, а таких поворотов Обь знает множество, благодаря тому, что течет по болотистой равнине,

Сам по себе переезд через Обь при моей опытности в управлении облоском опасности никакой не представляет— не все ли равно ехать ли около берега или по середине реки!—Опасность таится в возможном ветре, который может неожиданно налететь в то время, когда моя скорлупа находится как раз посреди реки. Тогда достаточно сравнительно маленьких волн, которые поднимет ветер, для того, чтобы мой облосок захлестнуло.

Хотя основную часть пути по Нарымскому краю я по совету товарищей и думал сделать пешком, но эта перспектива, как я уже упомянул, мне улыбалась очень мало. Поэтому у меня в глубине души мелькала мысль, не удастся ли, в случае удачного путешествия на облоске до Парабелли, продолжить его и дальше не пешком, а также водой. План течения Оби я знал, знал целый ряд „протоков"—узкие рукава Оби, идущие по тайге, которые значительно сокращают путь, ибо обычно они прямее. По этим протокам ехать хотя и опаснее, чем по самой Оби, в смысле возможности встречи со „зверем" (так в Нарыме зовут медведя), ибо они проходят по глухой тайге, но не в пример безопаснее с точки зрения возможности встретиться с людьми, в особенности с челдонами, которые легко могли меня заарестовать и доставить по начальству.

Когда я собирался в путь, у меня еще не было определенного решения, какого маршрута держаться — пешеходного или водного. Все должен был решить первый переезд. На всякий случай, я готовился также и к возможности последнего маршрута. Это приготовление, собственно говоря, свелось только к одному: из имевшейся у меня марли я сшил прозрачный чехол на свой облосок. Это делалось для того, чтобы можно было ночевать в лесу.

Нарымские леса и болота кишмя кишат комарами и разного вида мошками. Их иными местами бывает столько, что буквально невозможно вздохнуть, чтобы полон нос и рот не набился этим „гнусом". Итти по лесу можно не иначе, как

только в особой волосяной или кисейной сетке, которая надевается на голову и закрывает все лицо и шею, да и то ее приходится намазывать смесью из скоромного масла, керосина и дегтя. Только этот весьма вонючий состав может до некоторой степени отгонять от вас „гнус“.

Дать мне возможность ночевать в лесу у берега реки, несмотря на гнус, и должен был этот самый футляр. Перед сном облосок я буду вытаскивать на сушу, надевать на него чехол, по краям обильно смажу упомянутой вонючей смесью и в этой постеле с пологом я смогу спать спокойно.

Часов в пять вечера, снарядившись, я выехал на своем облоске из Нарыма, держа путь на Парабелль. По расчетам моим и товарищей, я должен был прибыть в Парабелль, принимая во внимание, что он лежит в 30 верстах вверх по Оби, с ее сильным течением, на другой день к вечеру. Однако ночь была такая хорошая, а мой облосок шел так быстро, да и мне самому так хотелось поскорее уехать подальше, что совершенно неожиданно для себя я прибыл туда часов в 11 дня. В эти часы явиться на явку в Парабелль было конечно нельзя, и мне надо было дожидаться ночи.

Как сейчас помню, как я пристал к высокому берегу Оби, на той стороне которой лежал Парабелль... Вышел на берег, развел костер, пообедал, напился чаю... День был великолепный, я совершенно не чувствовал себя утомленным. Время тянулось страшно медленно. Мне все больше и больше начинала улыбаться мысль не дожидаться вечера, а прямо отправиться дальше, не заезжая в Парабелль, на Колпашево, что лежит в южной части Нарымского края, где меня ссыльные хорошо знали и могли оказать не меньше помощи, чем парабелловцы. Если мне удалось почти в полсуток проехать 30 верст и я так бодро себя чувствую, то не так уж страшно добраться и до Колпашево, до которого оставалось всего около 100 верст. Нечего ждать, поеду в Колпашево!

Таким образом, маршрут свой я окончательно определил как „водяной". Несколько часов я ехал Обью, а затем свернул в проток, длина которого была верст двадцать. Трудно поддается описанию дикая красота таежной природы, когда ты один—один едешь по обьским протокам, которые прорезывают тайгу. Не один раз у меня вырывались крики восторга.

Чувствовал я себя сильным, бодрым и смелым, а это такое хорошее сомочувствие... Встречи с медведем я как-то совсем не боялся — кругом было так хорошо, что казалось какой то дикой нелепостью мысль, что какой то медведь может с тобой встретиться и задрать тебя. Наоборот,—чего я боялся и не хотел, так это встречи с человеком. А эта встреча была опасна независимо от того, какой человек с тобой встречается: если это челдоны — они могут тебя, избив предварительно, доставить по начальству (в Нарымском крае в то время было много ссыльных с театра военных действий, лиц, подозреваемых в шпионаже, и полиция пустила слух, что они убегают к немцам, так что тебя могли задержать как немецкого шпиона); если встретишься со звероловом дикарем тунгусом—он тебя просто может подстрелить—а он стреляет без промаха—для того, чтобы воспользоваться твоей одеждой... По сравнению с людьми лесные звери мне казались совсем невинными.

Итак, в течение недели выбирался я на своем облоске, Обью и ее протоками, из Нарымского края в Россию... Вначале я пробовал ехать больше по ночам. По Оби это было значительно безопаснее в смысле встречи с людьми. Побережные жители рыболовы, они часто на много верст от'езжают от деревень на своих облосках для ловли стерляди, „переметами". Днем на Оби постоянно маячат то здесь, то там облоски с челдонами. Пустеет она от рыбаков часов с 8—9 вечера. В это время я обычно и ехал.

Однако в этом ночном путешествии были и свои неудобства. Быстрое течение реки образует очень много боль-

ших водоворотов, где вода вертится, шумит и волнуется, особенно если здесь еще лежат смытые в половодье с берегов деревья. Днем, когда светло, такие места видны, и их легко можно обогнуть, вечером же есть большая опасность наскочить на такое опасное место, где моему микробу-облоску, сидевшему над водой всего на два вершка, могло быть очень плохо. Поэтому я стремился скорее попасть в проток, где можно было уже ехать днем, не боясь встречи с рыболовами.

Когда наступала ночь, я выбирал удобное место для отдыха и устраивал себе ночлег. Спал я обычно так: на высоком берегу отыскивал ложбинку, втаскивал туда облосок, разводил по обоим бокам его, шагах в трех с каждой стороны, по большому костру, а сам ложился в облосок и натягивал на него чехол. Костры разводились для того, чтобы не подпустить к себе медведя, который в этих местах является не редким гостем, вернее, хозяином леса. Для того, чтобы костер скоро не потух, я клал на них большие пни или корни или вообще какое либо массивное бревно или сухое дерево. Не знаю, ходили ли около меня медведи, когда я спал, но во всяком случае я остался цел.

Однако без встречи с царем сибирских лесов не обошлось. Однажды, когда я ехал одним очень длинным протоком, измученный путем, я решил устроить привал раньше обычного. Выбрал подходящее место, немного отдохнул около костра и, пока кипел поставленный на него чайник, я решил сходить в тайгу набрать себе ягод. Отойдя на полверсты от места своей стоянки, я напал на хороший малинник. Увлекшись собиранием малины, я провел здесь, вероятно, с полчаса времени. Наконец, с полной шляпой спелой малины отправился разыскивать место своей стоянки; ходя взад и вперед по малиннику, я немножко потерял ориентацию места. Я помнил, что вошел в лес с запада (по старой привычке я всегда обращаю внимание, с какой стороны я вхожу в незнакомый мне лес),—в эту сторону я

и взял свой обратный путь. Сделав несколько сот шагов, я увидел просвет к протоку. К нему вела узкая полянка, к концу загибающаяся.

Выходя на эту поляну, я вижу какое то рыжеватое животное, идущее поперек поляны в ту же сторону, что и я. Косые лучи заходящего солнца не позволили мне разобрать, что это такое—мне показалось, что идет теленок. Я приостановился и подождал пока животное исчезло за кустом. Инстинкт подсказал мне, что идти дальше не надо. Но тут возмутилась вся моя внутренняя гордость: вернуться это значило показать себе, что я струсил. Данных же на то, что надо бояться, у меня не было—мне определенно показалось, что шел теленок, в чем не было ничего удивительного, ибо челдоны почти всегда по летам пасут свой скот в лесу, окружающем деревню. После минутного колебания я решил идти вперед, но из предосторожности все же вынул нож и пошел охотничьими, совершенно бесшумными шагами (я был в „броднях“ —кожаные чулки без подошвы, в которых ходят охотники в Сибири, делающие шаги совершенно неслышными). Не успел я завернуть за куст, за которым скрывалось продолжение поляны, как столкнулся нос к носу с медведем, который стоял почему то уткнув голову в куст, ко мне задом...

Эта встреча была как для меня, так и для него полной неожиданностью; я не ожидал встретить медведя, он не слыхал, как я подошел. Встретились мы не более, как в 4—5 шагах друг от друга.

Когда я увидел зад зверя, я инстинктивно остановился как вкопанный и замер, не шевелясь и не произнося ни звука. Медведь, почуяв меня, повернул голову, как—то хрюкнул от неожиданности, приподнялся на задние лапы, сел на них и опять приподнялся, не поворачиваясь ко мне туловищем, а полуобернув только голову.

Несколько мгновений мы глядели друг на друга не шевелясь. Я помню, что мысль моя работала чрезвычайно

ясно и отчетливо. Я помню, что морда зверя не имела в себе ничего свирепого, она мне даже как-то понравилась... Сколько прошло времени я не знаю, но вот медведь опускается на задние лапы и с легким урчанием медленно идет за куст, около которого он стоял. Мои глаза с каким-то любопытством следят за поступью его задних ног—„действительно косолапый“, подумал я.

Сделав 2—3 шага, медведь оглядывается, проходит еще несколько шагов и, оглянувшись еще раз, скрывается за кустами. Я остался один. Вот сейчас я почувствовал страх. Я чувствовал, что могу потерять всякое самообладание, если не удержу себя. Колоссальным напряжением воли, я продолжаю оставаться на месте—я боюсь двигаться, ибо вспомнил, что зверь инстинктивно бросается за убегающим.

Что делать? Пойти назад—зверь может броситься: хотя его уже и не видно, но может быть он где либо притаился; пойти вперед—органически не могу, не идут ноги, хотя зверь ушел от меня направо; наконец, решаюсь взять среднюю „линию“—пойти в сторону налево. Когда я сделал первые шаги, я почувствовал, что ноги мои начинают дрожать мелкой дрожью; с каждым следующим шагом эта нервная дрожь, результат вероятно крайнего нервного напряжения, все сильнее и сильнее и охватывает уже не только ноги, но и все тело: у меня было такое ощущение, точно каждая частичка моей кожи дергается такой мелкой дрожью, как это можно наблюдать, например, у лошадей, когда их кусают мошки.

Совсем разбитый и усталый, я добрался, наконец, до своего ночлега, держа все же в руках шапку с малиной.

После этой встречи, на ночевках я начал применять уже больше осторожностей, ибо уже реально чувствовал опасностя встречи с медведем—вместо двух костров я раскладывал четыре, два по бокам, один в головах и один в ногах, да кроме того старался ложиться спать к утру. В дальнейшем мое путешествие проходило уже без приключений.

Я усиленно торопился, стараясь проехать как можно больше. Чрезмерное физическое напряжение, которое мне пришлось применять все время, чтобы быстро итти против теченья, скоро дало себя знать. Проехав верст 60—70, около деревни Инкино (остяцкие юрты), я почувствовал себя весьма плохо: меня сильно лихорадило, заболела голова, появилась рвота. Это как то сделалось вдруг. Я помню, что едва успел добраться до берега, как почти совершенно потерял сознание и упал в полуобморочном состоянии на песок. Придя через некоторое время в себя, я еле имел силы, чтобы оттащить в кусты облосок, а потом опять впал в полуобморочное состояние. В таком положении я провалялся на песке до ночи и только ночная сырость привела меня немного в себя. Я поднялся, шатаясь, в ушах шумело, голова кружилась, я весь был искусан комарами, хотя, на мое счастье, место было песчаный откос, где гнуса обычно не бывает.

На утро я не мог ехать дальше. Провалявшись опять до вечера, я вижу, что со мной совсем неладно. В отдалении на другой стороне видно селение—это было, как я уже сказал, Инкино. Я решил рискнуть и заехать туда, тем более, что там у меня были товарищи. С большим трудом я сумел вечером переехать Обь и добраться до приятелей. Товарищи приняли меня весьма тепло, здесь я отлеживался дня 3—4, пока не восстановил своих сил. Отдохнув и запасшись вновь провизией, ночью я покинул Инкино, сопровождаемый самыми горячими пожеланиями моих приятелей.

Окрепший и снова бодрый, я продолжал свой путь. До Колпашева я доехал уже без надрыва. Отдохнув здесь сутки, я поехал дальше. Не успел я завернуть за изгиб Оби, который скрывает из глаз Колпашево, как натыкаюсь на колпашевских челдонов, которые неводили рыбу. Увидя меня, они решили, что я германский шпион и бегу к немцам. С матерной руганью двое из челдонов на облосках направились мне наперерез.

— Держы яго, паря, небось немец—тапи яво!

Дело грозило кончиться самосудом. Спасло меня только то, что я, когда то, жил в Колпашеве и кое-кого знал из местных жителей.

— Что вы, господа,—кричу я им,—какой я немец, я политический, живу в Колпашеве, а сейчас еду в Ильинское (деревня верстах в 15 от Колпашева), меня в Колпашеве хорошо знают, живу со всеми мирно и тихо.

— Ты колпашевский! А у кого ты живешь?

— Я назвал своего старого хозяина, 96-летнего старика. Челдоны, удовлетворившись моим ответом, пустили мне в догонку еще крепкое ругательство, но более уже не преследовали.

Верстах в 30-ти выше Колпашева в Обь впадает река Чай. Она уходит вглубь тайги верст на 200. Берега ее, не в пример большинству других обских притоков, довольно высокие, сухие, покрыты прекрасным кедровым лесом. По этой реке, главным образом на ее истоках, в то время работала землеустроительная комиссия переселенческого управления, разрабатывая участки земли для переселенцев. Поэтому по Чаю было довольно оживленное движение—верст на 100 вверх ходил маленький пароходик, а дальше поднимались на лодках. Туда и оттуда постоянно можно было встретить плывущие по реке артели рабочих, всякого рода подрядчиков, десятников, землемеров и т. п. При впадении Чая в Обь стояла будка сторожа, наблюдающего за фарватером, около которой обычно располагались табором в ожидании обского парохода пассажиры с верховьев Чая.

Здесь, у устья Чая я решил сесть на пароход. Предварительно ночью поднявшись вверх по Чаю, я под‘ехал к будке сторожа и легко выдав себя за десятника от переселенческого управления, вместе с другими начал ждать парохода. Пассажиров было много. Главную массу их составляли отпускники-солдаты, которые, после тяжелых ранений на фронте, были отпускаемы домой на месячную

побывку. С некоторыми из них я очень хорошо сдружился. Слушая их разговоры о войне, о порядках на фронтах, мне стоило больших усилий держать язык за зубами. Но это было очень тяжело—в своих собеседниках я чувствовал свою братью.

Дня через два снизу показывается пароход. Это был „Колпашевец", один из пароходов, ходящих от Нарыма до Томска. Так как на этих пароходах постоянно ездили стражники, то мне на него сесть было нельзя. Между тем вся публика собралась садиться на него. Положение мое было затруднительно—если остаться, дожидаясь следующего парохода, так наз. „Американца", т. е. пароходов, ходивших от Тюменя до Ново-Николаевска, можно было возбудить против себя подозрение сторожа; сесть на „Колпашевец"—значило рисковать провалом, что особенно не хотелось после всех тех трудностей, которые были уже преодолены.

Я прибегнул к хитрости: ушел незаметно в лес и там переждал, пока „Колпашевец" не начал давать отходные свистки. После последнего его свистка, когда он уже отчалил, я стремглав подбегаю к берегу и на глазах сторожа начинаю предаваться отчаянию, что я запоздал. Мое горе, очевидно, было так естественно, что сторож счел нужным утешить меня:

— Ну, ничего, не убивайся, не нонче, так завтра должен быть снизу „Американец". Он здесь не пристает, но я выеду с тобой к нему на лодке и он тебя примет.

Мне только этого и надо было. Через день, действительно, подошел „Американец", сторож выехал со мной к нему навстречу. Мы начали махать рубашкой. Пароход застопорил и через несколько минут я был на нем, держа путь до Ново-Николаевска.

В Ново-Николаевске, когда я, купив билет, направился в зал 3-го класса, я вдруг сталкиваюсь лицом к лицу

с колпашевским стражником, под надзором которого я был несколько месяцев тому назад.

— Ну, провалился,—мелькнуло у меня в мыслях.

Я с'ежился и, перекосив физиономию, шмыгнул около него боком. Он меня определенно заметил, но, к моему удивлению, сделал вид, что меня не узнает.

Наблюдая за ним, я скоро заметил, что он с семьей и в солдатской форме. Оказалось, что он за что-то был уволен и теперь шел, лишившись полицейской отсрочки, на фронт. Его провожала семья. Видимо, свое несчастье сделало его более человечным,—уезжая на фронт, он не захотел выдать меня. Я спокойно сел на поезд.

Благополучно добравшись до Усть-Катавского вагоностроительного завода, я встретил там тов. Правдина, который снабдил меня деньгами и дал рекомендацию в Петербург к тов. Калинину. Через Екатеринбург, где я имел встречу с тов. Крестинским, бывшем тогда там под надзором полиции, который тоже оказал мне содействие, я благополучно доехал до Питера, где вскоре вошел в выборгский район в качестве ответственного организатора и оттуда же скоро был послан в петербургский комитет нашей партии.